ХЭВЛОК ЭЛЛИС

МИР СНОВИДЕНИЙ



ХЭВЛОК ЭЛЛИС

МИР СНОВИДЕНИЙ

Об этой книге

Хэвлок Эллис — английский врач и писатель, один из самых известных исследователей человеческой природы своего времени. «Мир сновидений» — плод многолетних наблюдений над собственными снами и снами знакомых, соединенных с широким знанием литературы.

Эллис рассказывает, из чего складывается сон, как в нем рассуждает ум и работают чувства, откуда приходят во сне чувства страха и радости, почему мы летаем и падаем, как во сне являются умершие, как память возвращает давно забытое и что такое чувство «уже виденного». Книга написана ясно и спокойно, без готовых теорий, с уважением к загадке сновидения.

Содержание

Предисловие	5
Глава I. Вступление	9
Глава II. Элементы жизни сновидений	25
Глава III. Логика сновидений	56
Глава IV. Органы чувств в сновидениях	69
Глава V. Эмоции в сновидениях	90
Глава VI. Полеты во сне	121
Глава VII. Символизм сновидений	138
Глава VIII. Сны о мертвых	179
Глава IX. Память в сновидениях	195
Глава X. Заключение	239

ПРЕДИСЛОВИЕ

✦

Книгу о сновидениях можно написать по меньшей мере четырьмя разными способами. Есть, например, *литературный* способ. Тут материал берут из книг или из воспоминаний других людей и так собирают множество более или менее чудесных историй. От этого способа я отказался: доверять ему нельзя вовсе. Сновидения ускользают даже в лучшем случае; лишь очень внимательный наблюдатель способен верно записать сон, пусть даже сразу после того, как его увидел, и никто не может без опаски доверить сон памяти.

Есть, далее, способ, который я назвал бы *клиническим*: сновидения изучают, лично наблюдая и собирая факты, а затем подытоживая и разбирая результаты. В большом масштабе, с помощью *анкеты*, этим способом работали прежде всего в Соединенных Штатах, особенно в Университете Кларка, по почину доктора Стэнли Холла. Строгое и научное следование клиническому методу изучения сновидений дало книгу профессора Санте де Санктиса *I Sogni* (первое издание 1899 года) — в целом лучшую книгу о сновидениях из вышедших за последние годы.

Есть затем *экспериментальный* способ: не довольствуясь одним объективным изучением явлений, он старается вмешаться в них и выяснить, к чему это вмешательство приводит. Этот способ можно сочетать с другими способами изучения сновидений. В чистом виде им в последние годы особенно занимался покойный Мурли Вольд. Его результаты не лишены

интереса, но охватывают небольшую часть поля и не вполне надежны. Деятельность сновидения так текуча и так поддается внушению — особенно когда экспериментатор и испытуемый одно и то же лицо, — что вмешательство искажает явления, и мы не можем быть уверены, что опыт и вправду многому научил нас о жизни сновидений.

Есть, наконец, *интроспективный* способ — наблюдение за самим собой. Его можно назвать самым ранним из более научных способов изучения сновидений. Первопроходцем здесь был Мен де Биран, а Мори в своей знаменитой книге *Le Sommeil et les Rêves* (1861), с которой началось современное изучение сновидений, держался главным образом интроспективного способа, хотя и не всегда вполне удачно избегал присущих ему ошибок. Чаще и успешнее всего этот способ разрабатывали во Франции.

Книгу профессора Зигмунда Фрейда *Die Traumdeutung* (первое издание 1900 года) можно отнести к интроспективному разряду, хотя и к особому его подразделению, которое сам Фрейд называет психоаналитическим. Это, несомненно, самая оригинальная, самая смелая, самая вызывающая на спор из недавних книг о сновидениях, и теперь она служит учебником для целой школы исследователей. Пренебрегать ею нельзя: ее написал один из глубочайших среди ныне живущих исследователей темных глубин человеческой души. Даже если отвергнуть методы Фрейда как неудовлетворительные, а его факты как недоказанные, труд человека столь смелого и столь искреннего не может не помогать и не будить мысль в высшей степени. Если это и не истина, то по крайней мере это поможет нам к истине прийти.

Небольшая книга, которую я теперь предлагаю читателю, принадлежит главным образом к интроспективной группе исследований сновидений, хотя и не к психоаналитической ее

разновидности. Она основана на материале, который копился у меня под рукой более двадцати лет, и некоторые развитые в ней мысли были высказаны в статье «On Dreaming of the Dead» (*Psychological Review*, сентябрь 1895), в «A Note on Hypnagogic Paramnesia» (*Mind*, № 22, 1896) и в «The Stuff that Dreams are made of» (*Popular Science Monthly*, апрель 1899). Книга эта — не плод эксперимента и не плод намеренного сосредоточения мысли на сновидениях. Я просто записывал пережитое во сне — чаще всего мною самим, реже ближайшими друзьями — сразу же, как сон случался, обычно при пробуждении утром. Немногие неважные исключения из этого правила оговорены особо. Держась этого правила, я смог убедиться, что все записанное мною достаточно точно. Такой способ, конечно, склонен оставлять в стороне сны своеобразные и исключительные. Об этом я не слишком сожалею. Меня занимают прежде всего задачи обычного сновидения; они достаточно загадочны и таинственны и по праву первыми требуют объяснения. Я не хочу, чтобы меня поняли так, будто я сомневаюсь в существовании телепатических и иных необычных сновидений. Это не так. Но случилось, что при поставленных мною условиях мне не встретилось ни одного сна, который ясно и бесспорно принадлежал бы к этому необычному разряду. Те немногие возможные примеры, что прошли непосредственно перед моими глазами (ни разу — как мои собственные переживания), незначительны и к тому же порою слишком интимны, чтобы излагать их полностью.

Таким образом, мой вклад в психологию сновидений прост и непритязателен; он касается лишь основных начал предмета. Говорю это не только из скромности. Мне кажется, что в прошлом литературу о сновидениях нередко отягощали плохие наблюдения и поспешные теории. Научившись наблюдать и

понимать обычные ночные переживания жизни сновидений, мы лучше всего заложим основание для будущих построений. Ибо, если понимать их верно, сновидения могут дать нам ключи ко всей жизни.

Хэвлок Эллис

ГЛАВА I. ВСТУПЛЕНИЕ

✦

Дом сновидений — Ошибки в изучении сновидений — Можно ли изучать сновидения? — Как избежать ошибок — Всегда ли мы видим сны во время сна? — Два главных источника сновидений и их подразделения.

Засыпая, мы входим в смутный и древний дом теней, куда не проникает ни один прямой луч из внешнего мира бодрствующей жизни. Нас носит по его покоям помимо нашей сознательной воли; мы падаем с его заплесневелых, прогнивших лестниц, нас тревожат странные звуки и запахи из его таинственных закоулков; мы движемся среди призраков, которыми не можем сознательно управлять. Когда мы снова выходим в мир дневной жизни, на миг солнечный свет словно вспыхивает в темном доме, прежде чем дверь за нами закроется; мы успеваем ярко увидеть покои, где блуждали, и к нам возвращается несколько более или менее отрывочных воспоминаний о жизни, которую мы там вели. Но они скоро блекнут в свете обычного дня, и если через несколько часов мы попытаемся припомнить странные переживания, через которые прошли, то обычно оказывается, что ночные видения уже растаяли в памяти, превратившись в несколько клочьев тумана, которых нам больше не собрать.

Для большинства из нас на этом все наше знание и кончается. Пока сны длятся, они вполне реальны, но заботы бодрствующей жизни поглощают нас так целиком, что у нас редко находится досуг — и еще реже охота — подвергнуть свои сонные приключения, какими бы пустыми и несуразными они обычно ни

казались, той тщательной проверке, которой бодрствующий ум привык подвергать дела заведомо более важные. Мир сновидений и таинственный свет, что царит в нем[1], целиком предоставлены нашей деятельности во сне.

[1] Приглушенность света в обычных сновидениях — обычное отсутствие солнечного сияния и, как правило, даже цвета — замечена давно. «Нам никогда не снится, что мы на солнце», — говорит Генри Диркс (*Lancet*, 11 июня 1870, с. 863), хотя и слишком категорично; «свет и тень не составляют необходимых элементов… Самый живой и самый впечатляющий сон — на деле настоящая ночная сцена, освещенная весьма неверно, и в ней мы больше всего замечаем ближайшие предметы, которые больше всего нас и занимают».

Эта главная черта жизни сновидений — то, что она протекает в ином, более сумрачном мире и в ином роде сознания[2], — вызвала критику изучения сновидений с научной стороны. Мы не можем по-настоящему изучать свои сны, говорят возражающие, потому что мы — то есть наше бодрствующее сознание — не можем достаточно близко с ними соприкоснуться. Сновидения, утверждают они, неизбежно преображаются в наших руках; изучаем мы не сами сны, а лишь свои бодрствующие и, вероятно, совершенно ложные впечатления о них. В этом возражении есть доля истины. Очень трудно, даже невозможно, точно и в должном порядке припомнить хотя бы подробности действительного происшествия, только что с нами случившегося. Очевидно, несравненно труднее припомнить переживание, которое произошло в столь сумрачных условиях, в мире, столь далеком от мира бодрствующей жизни. Есть, кроме того, вполне определенная трудность: мы ловим свои сны лишь на миг, как бы при свете открытой двери, когда выходим из сна. Иными словами, бодрствующее сознание на миг наблюдает и толкует процесс, идущий в другом роде сознания; или, если даже утверждать, что это то же самое сознание, это все же сознание, работавшее в

условиях совсем иных, чем у сознания бодрствующего, и принимавшее данные, которых наяву оно бы не приняло. Для исследователя сновидений всегда должно оставаться серьезным вопросом, насколько факты в этом процессе неизбежно искажаются. Во сне ли, наяву ли, наше сознание, вероятно, никогда не охватывает всего возможного психического поля внутри нас. И когда мы видим сны, и когда бодрствуем, — как станет яснее в дальнейшем, — существуют подсознательные, или не вполне сознаваемые, состояния, лежащие чуть ниже нашего сознания и влияющие на него[3]. Наши скрытые психические богатства, среди которых движутся сновидения, по-видимому, лежат отнюдь не всегда на одной глубине; удельный вес сознания, если можно так сказать, меняется, и эти скрытые элементы поднимаются или опускаются, приближаясь к сознательной поверхности или удаляясь от нее. Но наибольшая перемена должна происходить тогда, когда достигнута поверхность бодрствования и внешний мир врывается в спящее сознание. В этой перемене, несомненно, совершается необходимое и непроизвольное преобразование и истолкование. Можно, пожалуй, представить его себе примерно таким же, как когда человек, владеющий двумя языками, берет иностранную книгу и читает ее вслух на родном. Набив руку, чтец может перестать замечать, что все преобразует, что слова, которые он произносит, не те, что он видит, и что он даже меняет их порядок, порой ставя в середину предложения глагол, который видит в конце.

[2] Поскольку некоторые авторы придают слову «сознание» несколько особое значение, скажу, что понимаю под ним просто (как определяют Болдуин и Стаут в *Dictionary of Philosophy and Psychology*) «отличительную особенность всего, что можно назвать душевной жизнью», или, как говорит профессор Стратton, защищая это широкое определение (*Psychological Bulletin*, апрель 1906), «сознание обозначает общую и родовую черту наших психических актов».

Сновидение тогда оказывается, по определению Болдуина и Стаута, «сознательным процессом во время сна». Следует добавить, что всякое определение сознания весьма неопределенно. Боуд («Some Recent Definitions of Consciousness», *Psychological Review*, июль 1908) считает «законным предметом сомнения», может ли хоть какое-нибудь определение сознания быть удовлетворительным, а Мерсье (статья «Consciousness» в *Dictionary of Psychological Medicine* Тьюка) смело заявляет — и, по-моему, совершенно справедливо, — что «сознание не поддается определению», ибо мы никогда не можем зайти за него или выйти за его пределы. Что нам придется признать разные виды или, во всяком случае, разные степени сознания, станет ясно из нашего разбора сновидений.

---

[3] Под «подсознательным» понимается, по определению Болдуина и Стаута, «не ясно распознаваемое в данном состоянии сознания, но входящее в развитие последующих состояний сознания». Некоторым психологам слово «подсознательное» сильно не по душе. Они даже склонны утверждать, что подсознательного ума нет и что до и после стадии «осознания» психические факты существуют лишь как «расположения мозговых клеток». Однако психолог как таковой не имеет дела с мозговыми клетками, которые принадлежат гистологу. Занимаясь сновидениями, мы на каждом шагу убеждаемся, что психические состояния могут существовать и влиять на наше «осознание», не находясь в то же время непосредственно в его пределах. Психические состояния такого рода, по-видимому, правильнее всего называть «подсознательными», то есть сознаваемыми слегка, частично или несовершенно. Всякое возражение против столь точного и удобного обозначения действительного явления относится, кажется, к области личных вкусов, вторгаться в которую мы, пожалуй, не вправе.

Но даже если признать, что переход от спящего сознания к бодрствующему влечет за собой перемену столь же полную, — а вероятно, как мы увидим, нечто подобное порой и происходит, — у верного переводчика смысл все равно остается прежним. Невозможно поверить, что свидетельство бодрствующего сознания о природе видений, пойманных им на пороге между сном и явью, ложно, и убедительнее всего это доказывает полное несходство этих видений с данными обычной бодрствующей жизни.

Однако и этот вывод подвергся суровой критике, с которой нам придется разобраться, прежде чем идти дальше. Фуко, проницательный исследователь психологии сновидений, — доводя до крайности положение, которое Дельбеф и Таннери высказывали не так полно и осторожнее, — отрицал, что наши сны в том виде, в каком они в конце концов предстают бодрствующему сознанию, хоть сколько-нибудь соответствуют психическому процессу во сне, на котором они основаны, и особенно настаивал на том, что логические связи привносятся потом[4]. Он считает, что сновидение — это «наблюдение памяти», сделанное в таких условиях, что «было бы весьма неосторожно считать воспоминание о сне верным воспроизведением душевного состояния во сне». Во время сна, полагает он, наши образы сновидения текут, быть может, одновременно, но раздельно и независимо; в тот миг, когда начинается пробуждение, ум актом непосредственной памяти схватывает множество отдельных картин и сам собой принимается упорядочивать их по правилам логики и законам действительного мира, составляя из них драму, как можно более похожую на драмы бодрствующей жизни[5]. Он согласен с Гобло, что «сон, который мы помним, — это мысль бодрствования», и с Таннери, что «мы помним не свои сны, а лишь те их перестройки, которые совершили в миг пробуждения». Сон развивается уже после пробуждения, заключает Фуко, и окончательный его вид зависит от того, когда его записали; «развитие сна после пробуждения есть развитие логическое, подчиненное инстинктивной потребности придать разумный вид *совокупности* образов и ощущений, наличных в уме, и уподобить представление о сне системе представлений, составляющей наше знание о действительном мире, и направляемое ею»[6].

[4] Фуко, *Le Rêve*, 1906.

[5] Фуко, указ. соч., гл. IV.

[6] Фуко, указ. соч., с. 49.

Отстаивая свой тезис, Фуко придает большое значение изменениям, которые, как можно доказать, происходят, если человека просят пересказывать сон с промежутками в несколько месяцев. Под действием времени и повторения сон становится связнее и ближе к действительности. В пример Фуко приводит две версии незначительного сна, в котором дама воображает, будто выехала с мужем на прогулку в экипаже и по дороге испытывает естественную нужду, которую ищет случая справить; подробности первой версии были весьма неправдоподобны; несколько месяцев спустя они стали гораздо больше походить на то, что могло бы случиться в действительной жизни. Такой процесс, думает Фуко, идет с самого начала, когда складываются сновидения в том виде, в каком мы знаем их наяву.

Несомненно, есть факты, которые, казалось бы, подтверждают довод Фуко, что логики сновидения, каким мы его знаем, нет в исходном сне и что она привносится потом. Так, однажды утром мне приснилось, что я спросил жену, не заходила ли она в одну комнату, и она ответила: «Не войти». Я тотчас проснулся и понял, что жена действительно произнесла эти слова — но не мне, а подходившей служанке, опережая то, что та собиралась сказать насчет входа в соседнюю комнату, дверь которой была заперта. Отсюда ясно, что хотя во сне мне казалось, будто сначала был вопрос, а за ним, как водится, последовал ответ, на деле первым прозвучал ответ. Вопрос был догадкой, которую спящий ум сам собой подставил и поставил впереди ответа; в таком порядке оба они и явились спящему сознанию — то есть в том единственном

виде, в каком спящее сознание вообще может быть познано: переведенными на язык бодрствующего сознания[7].

[7] Эта порой обращенная вспять природа сновидений известна давно; о ней упоминал автор статьи «Dreams and Dreaming» в *Lancet* от 24 ноября 1877 года.

Надо помнить, что такой сон, как записанный мною, — где действительное чувственное впечатление входит в спящее сознание непреображенным, как инородное тело, — нетипичен. Однако сновидения, без сомнения, бывают разных родов, и мы вполне можем допустить, что существует разряд снов, складывающихся таким путем. Это предположение и вправду поможет объяснить несколько сновидений, которые мне придется описать. Процесс здесь примерно тот же, что у нервного человека, который получает телеграмму и сразу решает, что случилось какое-то несчастье, которого он страшился, а телеграмма о нем извещает. Потребность в причинах инстинктивна, и чувство логики у видящего сон господствует даже над его чувством времени.

Но довод Фуко состоит в том, что это логическое построение сна совершает бодрствующее сознание. Здесь его позиция слаба и недоказуема. Более того, она противоречит всем проверкам, каким мы можем ее подвергнуть. Если цель логики наших снов — согласовать их с бодрствующим опытом, то цель эта, надо признать, в большинстве случаев очень далека от достижения. В исходном виде, как это представляет Фуко, наши сны — простые диссоциированные образы. В таком виде в них не было бы решительно ничего, что могло бы смутить сознание бодрствующей жизни. Логика же, введенная, по этому предположению, лишь затем, чтобы согласовать их с действительной жизнью, часто оказывается логикой несуразной, какую сознание бодрствующей жизни не могло бы ни принять, ни

даже вообразить. Уже один этот факт заставляет серьезно усомниться в теории, будто свою логику нашим снам навязывает бодрствующее сознание.

Нет, далее, ни сходства, ни тем более тождества между процессом, которым мы схватываем сон при пробуждении, и процессом, которым воспоминание о сне преображается за месяцы бодрствующей жизни. Последний — часть общего процесса, в большей или меньшей мере затрагивающего все наши воспоминания. Я посещаю, скажем, собор в чужой стране и тщательно отмечаю про себя вид и расположение контрфорсов и столбов; через несколько месяцев, если я не потрудился записать увиденное, память о нем станет неуверенной, путаной и неверной. Но из-за этого мне незачем терять веру в сносную точность первоначальных впечатлений. Точно так же нельзя утверждать, будто изменчивость воспоминания о сне за долгий срок бросает хоть малейшую тень сомнения на точность нашего первоначального впечатления о нем. Мы никогда не застаем сон в процессе образования. Когда он предстает сознанию при пробуждении, в нем могут быть сомнительные места и недостающие звенья, но сон уже раз и навсегда завершен, и если в нем есть сомнительные места или недостающие звенья, мы их таковыми и признаем. Мы не пытаемся достроить логику, которой там нет, и никогда не видим, чтобы подобный процесс шел помимо нашей воли. Я, пожалуй, и сам склонен сказать, что между спящим и бодрствующим сознанием всегда есть своего рода разрыв; переход от одного рода сознания к другому, видимо, совершается легким толчком, и восприятие уже завершенного сна — первое усилие бодрствующего сознания. На то, что такой толчок существует, указывает тот факт, что даже в первый миг бодрствующего сознания мы никогда не осознаем, что мгновение

назад спали. Как только мы осознаем, что не спим, нам кажется, что мы бодрствуем уже некий неопределенный, но ощутимый промежуток времени; некоторые люди, особенно старые, просыпаясь, чувствуют это так сильно, что отрицают, будто спали. Однажды мне довелось быть неподалеку от динамитной фабрики в тот миг, когда там произошел очень тяжелый взрыв; я стоял к фабрике спиной и совершенно не могу сказать, какой промежуток прошел между ударом взрыва и тем, как я обернулся и увидел прямой столб дыма и обломков высоко в воздухе; в сознании был разрыв, промежуток неизвестной и, по-видимому, немалой длины, вызванный оглушительным ударом взрыва, хотя обернулся я, вероятно, почти или совсем мгновенно. Мне кажется, что переход от спящего сознания к бодрствующему происходит сходным образом, только в меньшем масштабе.

Хотя взгляд Фуко, будто сновидение логически упорядочивается уже после пробуждения, при рассмотрении доводов в его пользу оказывается неприемлемым, мы все же можем допустить, что, по крайней мере в некоторых случаях, сновидение принимает окончательный вид лишь в тот миг, когда спящее сознание распадается, — что сон, каким мы его знаем, есть последняя попытка спящего сознания свести все воедино, пока оно тает при приближении бодрствующего сознания. Можно даже вообразить, что спящее сознание говорит себе примерно так: «Вот идет наш хозяин, Бодрствующее Сознание, который придает такое огромное значение разуму, логике и прочему. Скорее! Соберите все, приведите в порядок — в любой, какой угодно, — пока он не вошел и не вступил во владение». Иными словами, по мере того как спящее сознание подходит ближе к порогу бодрствующего, потребность в той же причинности или последовательности, что проявляется в бодрствующем сознании, может начать давать о

себе знать даже спящему сознанию. Впрочем, и это допущение для большинства сновидений кажется чрезмерным. Во всяком случае, на какой бы стадии ни складывался сон окончательно, мы, мне кажется, не вправе полагать, что хоть одна стадия его складывания лежит за границами сна. Отрадно, что можно с полным основанием прийти к такому выводу. Ведь если бы сновидения были главным образом или по преимуществу созданием бодрствующего сознания, они наверняка утратили бы немалую часть своего значения и интереса.

Но и придя к этому выводу, исследователь все еще далеко не на легком пути. Несомненный факт, что трудности наблюдения и записи снов во всяком случае очень велики, не может не делать нас крайне осторожными. Хотя у некоторых людей, которых самих можно считать натурами яркими и склонными к драме, сны, по-видимому, обычно бывают ярки и драматичны в такой мере, какая у меня случается крайне редко, обычно есть основания относиться с известной долей подозрения к рассказам о снах, которые на каждом шагу ясны, стройны, связны и понятны. Сны, какими я знаю их, проснувшись, порой содержат эпизоды, к которым приложимы эти определения, но в целом они полны неясностей, неопределенностей, необъяснимых пробелов. Память о событиях сна теряется так быстро, что постоянно приходится оставлять под сомнением, какова в точности та или иная подробность. Будто припоминаешь пейзаж, увиденный при вспышке молнии. Потому-то я и взял за правило допускать лишь сны, записанные очень скоро, а по возможности сразу после пробуждения. Важно, далее, записывая сны, отмечать чувство, испытанное во время сна, а также всякие телесные ощущения при пробуждении. Отношение сознания во сне к видениям сна обычно отличается от отношения бодрствующего сознания, хотя

насколько велика эта разница в норме — вопрос спорный. Когда я читаю рассказы о снах, где пейзажи в описании на каждом шагу так же прекрасны и впечатляющи для бодрствующего сознания, какими казались сознанию спящему, я обычно подозреваю, что — при всей добросовестности и точности рассказчика — мы имеем дело не со сновидениями в собственном смысле, а с видениями, пережитыми в более необычных условиях, и особенно с видениями под действием наркотических веществ. В настоящем исследовании мне важно лишь установить самые простые и основные законы мира сновидений, как они проявляются у достаточно обыкновенных и нормальных людей, а потому необходимо быть очень строгим к условиям, в которых сны были записаны. Именно самые обыкновенные сны вернее всего открывают обыкновенные законы жизни сновидений, но для этого нужно записывать их с наибольшей достижимой точностью.

Сам я вижу сны не постоянно и обычно не очень ярко, и в этом отношении я, вероятно, вполне обыкновенный и нормальный человек; личный материал, который я накопил, хоть и охватывает двадцать лет, не особенно обилен. Никогда не направлял я и внимания на свою жизнь во сне сколько-нибудь систематически и сосредоточенно. Сделать так значило бы, по-моему, исказить явления. Я лишь записывал все значительные явления по мере того, как они случались.

Сказать, что видишь сны не постоянно, — не значит утверждать, что сновидения случаются редко; это значит лишь, что редко их помнишь. Хотя, покидая дом сна, мы, может быть, ловим лишь мельком последнее ночное видение, вполне возможно, что ночью было много более ранних приключений, недоступных бодрствующему сознанию. Любопытно, что порой мы впервые, смутно, вспоминаем днем сон, виденный ночью.

Многие психологи, а также метафизики, — не желая допустить, что деятельность души может когда-либо прекращаться, — полагают, что мы видим сны все время, пока спим; таково в последние годы мнение Вашида, Фуко, Неке и сэра Артура Митчелла, как прежде это было мнением сэра Бенджамина Броди, сэра Генри Холланда и Шаафгаузена. В более ранние времена того же мнения, по-видимому, держались Гиппократ, Декарт, Лейбниц и Кабанис. С другой стороны, Локк, Макниш и Карпентер считали, что глубокий сон лишен сновидений; таково же мнение Вундта, Бониса, Штрюмпеля, Вейгандта, Хаммонда и Джастроу. Более того, есть люди, как Лессинг, которые, насколько им известно, вообще никогда не видят снов. Мой личный опыт едва ли склоняет меня принять без оговорок мнение, что во сне мы видим сновидения постоянно. Я нахожу, что запомнившиеся мне сны обычно связаны с каким-нибудь легким душевным или телесным беспокойством, и потому мне кажется вероятным, что если сновидения и непрерывны во время сна, то при совершенно спокойном сне они должны быть крайне слабы и призрачны. Возвращаясь к сравнению, которым я уже пользовался, можно сказать, что спящее сознание, опускаясь от поверхности бодрствующей жизни, может дойти до точки, где его удельный вес практически равен удельному весу окружающей среды, и тогда наступает состояние, близкое к полному покою[8]. Разумеется, нельзя сказать, что неспособность вспомнить сны служит доводом против того, что они были. Хорошо известно, что когда психическая деятельность сна принимает явно двигательную форму, как при разговоре во сне и при сомнамбулизме, воспоминание о ней при пробуждении остается очень редко, хотя мы не можем сомневаться, что психическая деятельность была. Точно так же сон, который мы помним, когда нас будит из крепкого сна другой человек, отнюдь

не всегда вызван этим пробуждением. Это видно из того, что если мы перед таким пробуждением поворачивались или делали иные движения, то запомнившийся сон — в одном таком случае это был сон о том, как с трудом пробираешься между диваном и креслом, — может не иметь никакого отношения к обстоятельствам пробуждения, но явно быть навеян движениями, сделанными во сне, хотя сами эти движения остаются бодрствующему сознанию неизвестны. В ту же сторону указывают и движения собак в крепком сне — ритмичное поднимание лап, виляние хвостом[9].

[8] Старый французский случай (его приводит Макниш) с женщиной, у которой была удалена часть черепа: ее мозг выпячивался во время сновидений, но оставался неподвижен во сне без сновидений, — а также более недавний сходный случай, известный Хаммонду (*Treatise on Insanity*, с. 233), подкрепляют мнение, что психическая деятельность, не проявляющаяся в запоминаемых снах, вероятно, в лучшем случае очень призрачна. Даже в бодрствующей жизни психическая деятельность часто падает очень низко; Бонис, исследовавший этот вопрос («Comment fonctionne mon cerveau», *Revue Philosophique*, январь 1909), описывает состояние, которое называет «психическими сумерками» и считает частым.

[9] Лукреций давно указал на значение этого факта (кн. IV, ст. 988–994) и утверждал, что галлюцинация держится еще какое-то время даже после того, как собака проснулась. Сам я, хоть и часто приглядывался, ни разу не смог заметить никаких следов такой гипнагогической галлюцинации или обмана чувств у собак, просыпающихся от снов; мне всегда кажется, что собака, которая, по-видимому, просыпается от сна об охоте, сразу и легко схватывает окружающую ее мирную домашнюю действительность.

Что провал памяти вовсе не доказывает отсутствия сновидения, можно показать не только забыванием того, что происходит в гипнотическом сне, но и тем, что мы порой наблюдаем при частичном наркозе, поддерживаемом лекарственными средствами. Это хорошо видно на случае, которым мне однажды пришлось заниматься: при трудных первых родах понадобилось долгое время давать хлороформ (после спиртово-хлороформно-

эфирной смеси). Средство давали не до полного угашения душевной деятельности, и роженица все это время разговаривала, а порой и пела, вспоминая разные события своей жизни с детства и далее. Ощущение и выражение боли были упразднены не совсем: слабые вскрики и замечания о неудобстве и стесненности, которые ей приходилось терпеть, порой смешивались в одной фразе с совершенно посторонними замечаниями, например о мелочах домашнего хозяйства. Происходили и смешения несовместимых представлений, как в обычном сновидении. «Где эта треугольная сиделка, — спрашивала она, — которой все равно, что делать?» Была и необычайная внушаемость сознания во сне. На вопросы присутствующих она отвечала, но всегда с наклонностью соглашаться со всем, что говорилось, и эта наклонность проявлялась даже с известной находчивостью, как когда на шутливый, наобум брошенный вопрос: «Вы прошлой ночью были пьяны или спали?» — она ответила с некоторой заминкой: «Думаю, немножко того и другого». Случайному наблюдателю могло бы показаться, что при полном сознании развился частичный бред. Однако, отойдя от наркоза, она не помнила ничего из того, что происходило, пока ей его давали, и не ощущала, что прошло время.

Как бы ни были порой фантастичны и чудесны наши сны, практически всегда они составлены из очень простых элементов. Желательно с самого начала иметь предварительное понятие об источниках этих простых элементов. Большинство пишущих о сновидениях полагают, что есть два великих источника, откуда черпаются эти элементы: огромный запас воспоминаний и действительные телесные ощущения, испытываемые в миг сновидения и истолковываемые спящим сознанием. Эти две группы, различение которых по меньшей мере так же старо, как

Аристотель[10], называли по-разному. Так, Салли называет их центральными и периферическими, Тиссье — психическими и чувственными, Фуко — образными и перцептивными. Довольно удобны названия, принятые мисс Калкинс: первую группу она называет репрезентативной, вторую — презентативной, понимая под репрезентативной «связанную через ассоциацию с бодрствующей жизнью прошлого», а под презентативной — «связанную через возбуждение чувств с непосредственным настоящим»[11].

[10] Впрочем, общепринятой эта классификация источников сновидений стала немногим более века назад. В прежние времена обычно не считалось, что она охватывает все поле. Так, Дю Лоран (А. Лаврентий) в XVI веке в своем трактате о болезни меланхолии (душевной болезни) говорит, что сны бывают трех родов: 1) от природы (то есть от внешних причин); 2) от ума (то есть основанные на воспоминаниях); и, выше обоих этих разрядов, 3) сны от Бога и от дьявола.

[11] М. У. Калкинс, «Statistics of Dreams», *American Journal of Psychology*, апрель 1893.

Репрезентативная группа распадается на два подразделения — смотря по тому, старые воспоминания или недавние; подразделения эти часто вполне отчетливы: недавние воспоминания сна относятся — вероятно, у большинства людей — к предыдущему дню, а старые обычно черпаются из опыта многих прошлых лет и нередко из раннего детства. Точно так же презентативные впечатления распадаются на два подразделения — смотря по тому, относятся ли они к внешним раздражителям, доступным чувствам, или к внутренним нарушениям в самом организме. Едва ли нужно замечать, что любые или все эти четыре подгруппы, на которые можно разложить всю нашу жизнь сновидений, могут сплетаться в одном и том же сне.

Я назвал эту классификацию «предварительной», потому что, хотя ее удобно принять ради порядка изложения, при ближайшем

рассмотрении окажется, что материал сновидений на деле весь одного порядка и чисто психический, хотя его и можно различать по характеру раздражителя, вызывающего психический материал, из которого сон составлен. Строго говоря, источник сна как сна может быть только центральным, и подлинно презентативный сон невозможен. Если наши чувства получают впечатление, внешнее или внутреннее, и мы распознаем и принимаем его за то, за что распознали и приняли бы наяву, то нельзя сказать, что мы видим сон. Внутренние и внешние раздражители, действующие на спящее сознание, не составляют части этого сознания и ни в каком действительном смысле не являются его источником или причиной. Луч солнца, упавший на спящего, сползшее одеяло, неудобоваримый ужин, съеденный накануне вечером, — все это может «объяснить» его сон не больше, чем стук почтальона может объяснить содержание доставленного им письма. Какие бы раздражители физического мира ни стучались в дверь сновидящего сознания, оно стоит особняком от них, и раздражители могут достичь его, лишь претерпев преображение. Они должны сбросить облик, который носят как явления бодрствующего мира, и облечься в облик явлений иного мира — мира сновидений.

ГЛАВА II. ЭЛЕМЕНТЫ ЖИЗНИ СНОВИДЕНИЙ

✦

Самопроизвольное шествие образов сновидения — Его калейдоскопичность — Внимание во сне — Отношение наркотических видений и гипнагогических образов к сновидению — Цвет в сновидениях — Слияние образов сновидения — Сравнение с «туманными картинами» — Источники образов — Разные виды слияния — Подсознательный элемент в сновидении — Словесные превращения как звенья образов сновидения — Удвоение зрительных образов в двигательных и иных формах.

Пожалуй, самый простой факт зрения во сне — непрестанная перемена, которой оно подвержено в каждое мгновение. Зрение для большинства из нас — главная чувственная деятельность жизни во сне, как и наяву; самый обычный сон — это прежде всего картина, но всегда картина живая и движущаяся, как бы неподвижны ни были в действительной жизни предметы, что являются перед нами в видении. Никто никогда не созерцал картины сна, которая оставалась бы в покое перед спящим взором, как покоятся картины, на которые мы смотрим глазами бодрствующими. Что касается моего собственного опыта, мне редко случалось видеть во сне фразу, слово, букву, написанные на листе бумаги из сна, которые не менялись бы под взглядом спящего. Мне снится, например, что я хочу наклеить марку на письмо и ищу в бумажнике пенсовую марку; я нахожу марки другого достоинства, нахожу пенсовые марки — порванные, испорченные или старого образца, вышедшего из употребления тридцать лет назад; всевозможные марки, а также картинки,

похожие на марки, возникают и множатся у меня на глазах; марка, которую я ищу, так и не находится — вероятно, потому, что она появилась в начале ряда и навеяла все остальные. На это указывает другой сон (виденный, можно отметить, в начале насморка): мне надо успеть на поезд; я вижу свою шляпу, висящую на крючке среди других шляп, и иду к ней; но пока я иду, она исчезает; и я брожу среди рядов шляп всех фасонов и размеров, но ни одна из них не моя. Спящее сознание — поток, в который мы никогда не входим дважды, ибо он обновляется каждую секунду. Именно это — не меньше, чем любая другая черта зрительного сна (ибо сон преимущественно слуховой или двигательный часто представляет здесь меньше трудностей), — и делает его столь трудным для припоминания и воспроизведения. Мы словно смотрим в непрерывно вращающийся калейдоскоп, где каждый малейший поворот дает новый узор, несколько похожий на тот, что непосредственно ему предшествовал, — так что, будь калейдоскоп сознательным, мы сказали бы, что каждая картина навеяна предыдущим узором, — но все же определенно новый[12].

[12] Сравнение с калейдоскопом для простейшего процесса сновидения напрашивалось часто. Так, в статье о сновидении в *Lancet* (24 ноября 1877) читаем: «Сочетания новы, но материалы стары — одни недавние, многие давние и забытые… Поворот калейдоскопа мгновенен, и всякая новая мысль, брошенная в поле зрения, быть может, в самый миг поворота, становится неотъемлемой частью картины».

Дельбеф отрицал, что этот процесс когда-либо включает действительное превращение образов; он считал его иллюзией, вызванной быстрой сменой отдельных образов, которые потом соединяются в памяти. Однако этот взгляд несостоятелен; не говоря уже о том, что он неправомерно допускает, будто наше воспоминание о сне совершенно ненадежно, надо помнить (как указал Гисслер), что потрясение — ужас или удивление, — часто

сопровождающее такие сны, достаточно доказывает действительность превращения. Так, однажды в юности мне приснился яркий сон об альбатросе, превратившемся в женщину: прекрасные глаза альбатроса приобрели женское выражение, но клюв птицы лишь не вполне превратился в нос, когда птица-женщина прошептала: «Ты меня любишь?» В этом случае живое удивление во сне было связано именно с одновременным присутствием обоих наборов черт.

Впрочем, вовсе не обязательно, чтобы образы сновидения превращались, или даже чтобы шествие образов сна было непрерывным. И есть ли превращение образов или нет, непрерывны образы или прерывисты, мне кажется, мы должны допустить, что они могут возникать самопроизвольно. Вопрос этот, правда, спорный и, надо признать, допускающий спор. Так, Фуко[13] объясняет умножение почти одинаковых образов, которое порой наблюдается во сне, желанием: мы видим множество вещей, потому что желаем обладать множеством таких вещей, и сон Дельбефа о шествии ящериц он объясняет тем, что Дельбеф собирал ящериц, — так же как объяснил бы сны людей, томимых жаждой, которым кажется, что они пьют стакан за стаканом воды или вина. Я никак не могу принять этого объяснения. Смена и умножение образов сна, как в шествии ящериц, — основная и простейшая черта самопроизвольных мысленных образов, и она постоянно наблюдается в некоторых наркотических видениях, особенно вызванных мескалем[14]. Повторение воображаемых глотков во снах жаждущего относится к другому, более частному разряду, для объяснения которого уместнее призвать желание; это лишь выражение того факта, что после воображаемого питья спящий по-прежнему хочет пить, и навеянный образ поэтому повторяется.

[13] Фуко, *Le Rêve*, с. 182.

[14] Это согласуется со взглядом Вундта, который приписывает такое умножение образов сетчаточному элементу.

Что в некоторых случаях существует, так сказать, преднамеренный подсознательный отбор образов, представляемых сознанию во сне, — в этом не может быть сомнения. Но мысленные образы глубже и первичнее любой из высших психических функций, даже когда те действуют подсознательно. Как огромное шествие непрерывных и совершенно незнакомых образов, которое вызывает действие мескаля на зрительные центры, связано с волей или желаниями испытуемого не больше, чем шествие звездного неба, так, видимо, приходится признать, может обстоять дело и с чередой отдельных образов во сне. Почти всегда можно найти звено, связующее любые два наудачу выбранных образа, и это звено часто действительно подсознательное, но не обязательно. Прерывистые образы могут возникать, по-видимому, из психической основы более глубокой, чем выбор, и их появление определяется их собственным динамическим состоянием в данный миг. Мы должны, как не вполне удачно выражается барон Мурр[15], принимать в расчет «физиологическое состояние идей». Если держаться мнения, что сновидение основано на коренной и простейшей склонности к образованию непрерывных или прерывистых образов, которыми могут управлять, а могут и не управлять психические чувства или побуждения, мы избавимся от множества рискованных умозрений.

[15] Барон Шарль Мурр, «La Volonté dans le Rêve», *Revue Philosophique*, май 1903.

Когда мы исходим, таким образом, из признания более или менее самопроизвольного шествия образов как первичного вещества

сновидений, одна из первых задач, с которыми мы сталкиваемся, — отношение внимания к этим образам. Какова степень и какова природа внимания, которое мы проявляем во сне?

«Сон с психологической точки зрения, — говорит Фуко, — есть состояние глубокой рассеянности, или полного невнимания». А Мурр на собственных снах показывает, что всякое усилие воли во сне ведет к пробуждению и что чем глубже сон, тем полнее воля отсутствует в сновидениях. Отсюда невольные колебания и вечная, просто бессмысленная смена образов сна. То сосредоточение, какое возможно во сне, обычно обнаруживает зыбкое, колеблющееся, неуверенное движение видения перед нами. Мы словно читаем дорожный указатель в сумерках или пытаемся угадать названия станций, когда наш скорый поезд проносится мимо крашеных букв. Именно этот фактор в сновидениях так часто и ставит в тупик наш анализ. Итак, спящему вниманию не удается окончательно закрепить конечный итог, — и эта неудача сама, очевидно, может служить продолжению процесса сновидения, подсказывая новые образы и сочетания. Однако едва ли можно сказать, что вопрос о внимании во сне этим решен. Было бы непостижимо, чтобы страшные события, которые могут постигнуть нас во сне, и поднятая ими буря чувств сопровождались «полным невниманием и рассеянностью». Нельзя сказать и того, что это предположение согласуется с яркой памятью, которую порой оставляют наши сны. Вероятно, гораздо удовлетворительнее объяснить эти явления, если принять полезное различение Рибо между произвольным и непроизвольным вниманием[16]. Произвольное, или искусственное, внимание — плод воспитания и обучения. Оно направляется посторонней силой, бывает следствием обдуманного решения и сопровождается некоторым чувством

усилия. Оно всегда действует на мышцы и посредством мышц; без мышечного напряжения произвольного внимания быть не может. Непроизвольное, или естественное, внимание, напротив, — это более коренной род внимания, существующий прежде всякого воспитания и обучения, и это единственный род внимания, на который способны животные и маленькие дети. Оно может быть слабым или сильным, но всегда и везде основано на эмоциональных состояниях; всякое существо, движимое удовольствием и болью, способно к непроизвольному вниманию под действием этих раздражителей. Эти два рода внимания стоят на противоположных полюсах и несовместимы друг с другом. Несомненно, как указал сам Рибо, во сне недостает именно произвольного внимания (хотя оно и не всегда отсутствует вовсе)[17]; мышечная слабость и несогласованность движений во сне влекут за собой этот недостаток внимания, который и есть необходимое условие восстановления сил и покоя во сне. Но все черты непроизвольного внимания налицо. Внимание, которое мы проявляем во сне, по большей части именно такого коренного, автоматического, невольного свойства, обусловлено переживаемыми чувствами и большей частью ускользает от всех усилий нашего произвольного внимания. Более того, Леруа убедительно доказывал, что подобное же состояние невольного автоматического внимания при одновременном ослаблении или расстройстве произвольного внимания — необходимое условие появления зрительных и слуховых галлюцинаций, которые в необычных случаях переживаются наяву[18].

[16] Рибо, *Psychologie de l'Attention*, 1889, гл. I и II.

[17] Мен де Биран, быть может, самый ранний точный интроспективный наблюдатель сновидения, отметил отсутствие всякого произвольного

деятельного внимания. Бонис считает внимание во сне возможным, но не различает разных родов внимания.

---

[18] Б. Леруа, «Nature des Hallucinations», *Revue Philosophique*, июнь 1907. Что касается значения отсутствия произвольного внимания для возникновения зрительных образов, можно заметить, что даже последовательный образ яркого предмета в бодрствующей жизни гораздо ярче, когда он возникает в состоянии невнимания и рассеянности. Я заметил это явление несколько лет назад, особенно когда изучал мескаль, а в последние годы его описал Дж. Х. Хислоп (*Psychological Review*, май 1903).

Итак, в основе сновидения лежит, по-видимому, самопроизвольное шествие образов, которое постоянно преображается во что-то иное — но не совсем иное, чем то, что было перед тем. Это словно механический поток образов, управляемый ассоциациями по сходству, который спящее сознание распознает, не управляя им и не внося в него чуждых элементов. Вероятно, это самая простая форма сновидения, ближе всего стоящая к бодрствующему сознанию, и в ней наибольшую роль играет периферический и сетчаточный элемент сновидения.

На коренной характер этого самопроизвольного, саморазвивающегося шествия образов указывает знаменательный факт: оно склонно возникать всякий раз, когда более сетчаточная и периферическая часть зрительного аппарата затронута истощением от чрезмерного раздражения, или даже когда организм вообще расстроен или истощен, как при неврастенических состояниях[19]. Самый навязчивый и знакомый пример зрительных образов дает шествие вечно сменяющих друг друга, изменчивых последовательных образов, которые продолжают развиваться еще долго после того, как мы посмотрели на солнце или иной яркий предмет[20]. Менее поразительны, но ближе по родству к образам сновидений гипнагогические видения, возникающие, когда мы засыпаем,

особенно после дня, в течение которого зрение было необычно возбуждено и утомлено, хотя они, видимо, не обязательно зависят от такого утомления. Ярче и поучительнее всего шествие зрительных образов, вызываемое некоторыми наркотическими веществами. Из них самое замечательное и сильное, а также самое удобное для изучения — вероятно, мескаль; к тому же это единственное из них, с которым я сам хорошо знаком[21]. Это вещество вызывает постоянную череду саморазвивающихся зрительных образов, которые все время приближаются к подобию действительных вещей и все время от него ускользают; на ранних стадиях эти образы очень похожи на те, что дает калейдоскоп, и меняются примерно так же. Такое самопроизвольное развитие образов — очевидно, коренная способность зрительного аппарата, которую могут выдвинуть на первый план многие очень слабые отклонения от нормы.

[19] Следует остерегаться допущения, будто такие образы чисто сетчаточные. Скрипчер («Cerebral Light», *Studies from the Yale Psychological Laboratory*, т. V, 1899) доказывает, что даже так называемый «собственный свет сетчатки», или *Eigenlicht*, — мозговой, а вовсе не сетчаточный, поскольку он одиночный, а не двойной, и отличается от последовательных образов, которые смещаются при надавливании на глазное яблоко. Этот взгляд, пожалуй, слишком крайний в противоположную сторону.

[20] Полное и интересное исследование их см.: С. Дж. Франц, «After-images» (*Monograph Supplements to Psychological Review*, т. III, № 2, июнь 1899). Он согласен с теми, кто считает последовательные образы целиком сетчаточными по происхождению.

[21] См.: Хэвлок Эллис, «A New Artificial Paradise», *Contemporary Review*, январь 1898; его же, «Mescal: A Study of a Divine Plant», *Popular Science Monthly*, май 1902.

Сходно действует и опий, и, как давно указал Де Квинси, это действие есть просто возрождение способности, которой обычно обладают дети, хотя, судя по моим собственным опытам с

мескалем, вещества пробуждают ее в гораздо более яркой и сильной степени, чем обычно бывает у ребенка. Психологи детства не часто исследовали это явление[22], но, насколько простираются мои собственные расспросы, все или почти все люди в детстве обладали способностью видеть в темноте видения на завесе закрытых век — то ли воплощения прочитанных сказок, то ли просто будничные шествия людей или событий, причем порой одна и та же фигура появлялась снова и снова. Я думаю, почти наверняка так называемая «ложь» детей, рассказываемая без умысла, отчасти вызвана тем, что эта способность порой прорывается в дневную жизнь. Люди, отрицающие, что когда-либо обладали этой способностью, почти наверняка просто забыли. Я и сам был бы склонен отрицать, что у меня когда-либо был подобный дар видений, если бы не помнил одного случая его проявления, лет в семь, когда я спал вместе с двоюродным братом того же возраста; мы забавлялись тем, что зарывались головой в подушки и смотрели связную вереницу картин, которую оба одинаково видели, и каждый объявлял о любой перемене в картине, как только она происходила. Именно то, что видение было общим, и запечатлело в моей памяти существование способности, от которой иначе я не помню никакого следа[23].

[22] Впрочем, Г. Э. Партридж («Reverie», *Pedagogical Seminary*, апрель 1898) исследовал гипнагогические явления у 826 детей. Их просили описать, что они видят ночью с закрытыми глазами перед сном. Среди этих детей 58,5 % в возрасте от тринадцати до шестнадцати лет видели ночью что-то таким образом; у шестилетних доля была выше — 64,2 %. Похоже, наибольшая частота приходилась примерно на десятилетний возраст и, вероятно, еще один пик — на гораздо более ранний. Чаще всего упоминались звезды — о них говорил 151 ребенок, цвета — 145, люди и лица — 77, животные — 31, сцены дня — 21, цветы и плоды — 18, картинки — 15, Бог и ангелы — 13. Партридж называет эти явления гипнагогическими; однако, хотя гипнагогические видения взрослых вполне могут быть пережитком детских видений, у детских гораздо больше размах и жизненная сила, ибо они не ограничены мигом перед засыпанием, и

ребенок порой может до известной степени ими управлять. Э. Гийон изучал гипнагогические и родственные видения у детей в своей парижской диссертации *Sur les Hallucinations Hypnagogiques*, 1903. Он считает, что дети всегда находят их страшными. Однако это далеко не так и объясняется лишь сосредоточенностью на болезненных случаях, которые, естественно, больше всего привлекают внимание. (Это видно и из примеров, приводимых Стэнли Холлом, «A Study of Fears», *American Journal of Psychology*, 1897, с. 186 и далее.) Видения здорового ребенка не страшны, и он принимает их как нечто само собой разумеющееся. Сны наяву озадачивают или тревожат его не больше, чем сны во сне.

---

[23] Самое раннее подробное, хотя и нетипичное, описание этого явления, какое мне встретилось, принадлежит доктору Саймону Форману, астрологу, в его занимательной *Автобиографии*, написанной в 1600 году. Он рассказывает, что шестилетним ребенком, «едва его укладывали спать, всякий раз виделись ему в видениях многие громадные горы и холмы, катившиеся на него, будто хотели наехать на него, обрушиться и раздавить его; однако он всякий раз взбирался на вершину их и с великим трудом переходил через них. Потом видел он многие великие воды, готовые потопить его, кипевшие и бушевавшие против него, будто хотели поглотить его; однако ему казалось, что он их одолевал. И эти сны и видения бывали у него каждую ночь непрерывно три или четыре года». Он верил, что их посылал ему Бог, чтобы возвестить невзгоды его поздних лет. Де Квинси точно описал это явление в 1821 году в «Исповеди англичанина, любителя опиума»: «Не знаю, известно ли читателю, что многие дети, быть может большинство, обладают способностью как бы рисовать на темноте всевозможные призраки: у одних эта способность — просто механическое состояние глаза; другие же могут произвольно или полупроизвольно прогонять или вызывать их, или, как сказал мне однажды ребенок, когда я расспрашивал его об этом: „Я могу им сказать, чтобы ушли, и они уходят; но иногда они приходят, когда я не говорю им приходить“». Э. Х. Кларк (*Visions*, 1878, с. 212–216) рассматривал способность детей видеть видения и указал на участие воли в этой способности. Вторжение слуховых впечатлений, по-видимому, необычно, хотя Дж. А. Саймондс (биография Горацио Брауна, т. I, с. 7), описывая свои детские ночные страхи, говорит о призрачных голосах, сливавшихся с кошачьими воплями на крыше.

Из этих различных групп родственных явлений нас при исследовании сновидений особенно занимает группа явлений, в самом строгом смысле называемых гипнагогическими, то есть относящихся к преддверию сна, когда чувства покоятся и бодрствующее сознание ускользает, или же когда, при выходе из

мира сновидений, бодрствующее сознание притекает обратно. Это состояние известно с очень древних времен. На него указывал Аристотель, а на заре нового научного мышления родственные явления описал Гоббс[24]. Собственно психологическое изучение гипнагогических видений началось, по-видимому, с Байярже[25]. Затем, несколькими годами позже, Мори, у которого был богатый личный опыт таких явлений, посвятил гипнагогическому состоянию главу и дал ему общепринятое название[26].

[24] «От долгого и напряженного созерцания геометрических фигур, — говорит Гоббс, упомянув о последовательных образах солнца (*Левиафан*, ч. I, гл. 2), — человек и в темноте (хотя бы и бодрствуя) будет видеть перед глазами образы линий и углов; такого рода фантазия не имеет особого названия, так как это вещь, о которой люди обычно не говорят».

[25] Байярже, «De l'Influence de l'État intermédiaire à la veille et au sommeil sur la Production et la Marche des Hallucinations», *Annales Médico-Psychologiques*, т. V, 1845.

[26] Мори, *Le Sommeil et les Rêves*, 1861, с. 50–77. Хорошие описания гипнагогических образов дают Гринвуд, *Imagination and Dreams*, с. 16–18, и Лэдд, «The Psychology of Visual Dreams», *Mind*, 1892. См. также: Санте де Санктис, *I Sogni*, с. 337 и далее.

Гипнагогические образы, можно почти не сомневаться, — не чисто глазное явление, даже когда их вызывает утомление глаз. Это явление смешанное, отчасти сетчаточное, отчасти центральное. Иначе говоря, глаз доставляет энтоптические мерцания, а мозг, следуя полученным так подсказкам, накладывает на эти мерцания мысленные картины[27]. Они, таким образом, сходны с картинами, которые мы можем видеть в огне или в облаках. Надо добавить, что и другие чувства доставляют соответствующие зачатки, которые восполняются центральной деятельностью; особенно это относится к слабому жужжанию и звукам в ушах, а кроме того, к мышечным подергиваниям и внутренним ощущениям от органов — все это выступает

заметнее по мере того, как стихает внимательная деятельность бодрствующей жизни[28].

[27] Такое объяснение предлагает, например, Делаж (*Comptes rendus de l'Académie des Sciences*, т. CXXXVI, № 12, с. 731 и далее). Его принимают Гийон и другие. Делаж настаивает на сетчаточном элементе, поскольку находит, что гипнагогические образы следуют за движениями глаза.

[28] Сходным образом Элмер Джонс обнаружил, что под хлороформом зрение сначала возбуждается.

Каково отношение гипнагогических образов к сновидениям? Иоганнес Мюллер, великий физиолог, давно отождествил их, как еще раньше Груйтуйзен и Бурдах, а Мори — сам, впрочем, обладавший несколько необычной и легко возбудимой нервной системой — считал, что гипнагогические образы доставляют весь образующий элемент сновидений, что они — «эмбриогения сновидений»; он часто замечал, что образы, являвшиеся ему так перед сном, снова появлялись в сновидениях. Это подтверждает Мурли Вольд, ставивший опыты на себе: закрепляя образы при засыпании, он видел во сне те же образы. Гобло, однако, считая гипнагогические образы сходными с образами сновидения, отрицает их тождество. Поскольку гипнагогическое состояние — преддверие сна и сновидений, *praedormitium*, как называет его Уир Митчелл, нам едва ли можно не признать вместе с Мори, что гипнагогические образы являют нам зародышевое вещество сновидений. Если они и не тождественны вполне сложившемуся сну, то все же это ранняя стадия сновидения. Именно такой взгляд подсказывает мне и собственный опыт, хотя я никогда определенно не узнавал в сновидении связи с предшествовавшим гипнагогическим образом. Но порой случалось, что, когда я начинал терять бодрствующее сознание, перед моим взором проплывала вереница образов и вдруг одна из видимых мною

фигур заговаривала. Этот галлюцинаторный голос, раздавшийся прежде, чем я вполне уснул, вспугивал меня, возвращая к полному бодрствующему сознанию, и я понимал, что, находясь еще в гипнагогической стадии, присутствовал при рождении сна.

Есть, заметим мимоходом, одна черта, в которой сновидения обычно не совпадают с некоторыми явлениями, с какими их всего естественнее сравнивать. Я говорю о том, как в них представлен цвет. В снах большинства людей цвет редок. С этой стороны мы обычно вспоминаем сон так, как вспоминали бы фотографию, а если цвет и есть, — как подкрашенный рисунок. Судя по собственному опыту, я сказал бы, что трудно решить, отсутствует ли цвет в самих образах сна или он просто не оставляет следа в памяти. Однако некоторые внимательные наблюдатели утверждают, что образы их снов определенно серые. Так, Бони пишет, что образы его снов обычно напоминают *гризайль*, как образ, вызванный в памяти наяву, хотя порой цвет бывает и ярким, а доктор Сэвидж говорит, что в его снах цвета почти или вовсе не бывает: «Я вижу пейзажи черно-белыми, и цветы принимают свою настоящую форму, но не свои краски».[1] Эта серость образов сна соответствует исчезновению цвета под хлороформным наркозом. «Пока глаза удавалось держать открытыми по своей воле, — пишет Элмер Джонс, — зрение казалось вполне обычным, только цвета спектра выцветали в серую полосу». Даже на ранней стадии некоторых душевных болезней, как установил Стоддарт, бывает некоторая степень цветовой слепоты.[2] Правда, Грейс Эндрюс сообщает, что почти в половине ее собственных зрительных снов присутствовали цветовые ощущения. Мне это кажется исключением. По моему опыту, нередко появляется один-единственный цвет, который обычно поражает меня своей красотой. Я вижу, например, как

приятель обильно пьет вино из большого кубка, и по цвету вина сужу, что это рейнское; или меня поражает переливчатый серый тон поплиновых платьев на группе дам, и это как будто говорит о том, что общий тон картины не был серым. Я склонен думать, что, когда цвет во сне выражен сильнее этого, сон не вполне нормален и связан с некоторым расстройством мозга, в особенности с головной болью. Это согласуется с тем, что люди, страдающие мигренью, подвержены зрительным цветовым явлениям. В качестве примера яркого цветного сна, связанного с головной болью, приведу следующий. Мне снилось, что известный художник, с которым я знаком, пишет мой портрет. (На портрете я был изображен стоя, а на самом деле лежал; это, впрочем, меня ничуть не удивило.) Я видел краски картины необычайно ярко и отметил, с какой огромной быстротой работает художник: так, красно-черный узор галстука, который он мне написал, вдруг сменился совсем другим, синим узором, и тогда вся картина предстала гармонией синих тонов; быстрота, с которой художник производил эти перемены, показалась мне весьма примечательной. В другом сне, где я видел художника за работой над картиной — пейзажем с восходом солнца, — память сохранила яркость света, но никакого определенного ощущения цвета не осталось. Мне кажется, таково нормальное положение дел в обычных снах большинства людей: цвет, если он появляется или запоминается, по большей части ограничен одним предметом или одним оттенком и часто связан с чувством эстетического удовольствия.

[1] Г. Х. Сэвидж, «Dreams: Normal and Morbid», *St. Thomas's Hospital Gazette*, февраль 1908.

[2] *British Medical Journal*, 11 мая 1907. Настоящие галлюцинации душевнобольных обычно окрашены в естественные цвета. Хед, однако, находит (*Brain*, 1901, с. 353),

что зрительные галлюцинации наяву, иногда сопровождающие болезни внутренних органов, всегда белые, черные или серые и никогда не бывают цветными или хотя бы подкрашенными.

В обычном сновидении, как правило, есть нечто большее, чем самопроизвольная вереница родственных образов. В нем есть более определенное центральное, душевное начало. Здесь действует ассоциация не только по явному сходству, но и по смежности — обычно по случайной смежности впечатлений, полученных накануне днем, — и она сводит вместе образы, действительно связанные между собой, но отнюдь не явно. Сознание во сне воплощает и деятельно согласует определенные, а не просто случайные образы. Так пассивный и самопроизвольный поток образов меняет свое течение.

Этот характер сновидческих переживаний хорошо поясняет образ волшебного фонаря. Движение синематографа, пожалуй, плохо передает то слияние разнородных образов, которым отмечены видения сна. Наши сны похожи на «туманные картины», где одна картина растворяется в другой то быстро, то медленно, но всегда без перерыва, так что в любой миг перед сознанием стоят две (а нередко и больше) несовместимые картины, и сознание силится сложить из них одно целое — иногда успешно, иногда становясь в тупик. Или можно сказать, что задача, которую получает сознание во сне, напоминает тот опыт, когда психолог произносит три совершенно не связанных слова и требует от испытуемого сразу соединить их в связную фразу. Нет нужды добавлять, что подобные сравнения не передают тонкой сложности того устройства, которое работает над изготовлением сновидений.

Благодаря этому механизму сновидения разрозненные впечатления — или впечатления, сходство либо связь которых не

очевидны для бодрствующего ума, — стекаются во сне и сплавляются в целое. Возникает в самом строгом смысле слова *смешение*. Например, дама, которая днем полюбовалась прекрасным младенцем и купила к обеду большую рыбу, видит во сне, с ужасом и изумлением, вполне развитого живого младенца, зашитого в большую треску. Другая дама, которая днем занималась стряпней, а вечером прочла научное описание того, как птицы добывают и усваивают пищу, например плоды и улиток, видит ночью, будто на прогулке открыла некий плод-животное — сливу-терновку с улиткой внутри — и с восторгом рассматривает его как превосходно пригодный для кухни. Третья дама, разрезав за обедом утку, видит во сне, что пытается отрезать утиную ножку, но в то же время во сне как будто понимает, что на самом деле рубит шею собственного мужа.[3] В моем собственном сне детские головки приняли вид цветов разных очертаний и оттенков, большей частью из семейства сложноцветных (вроде хризантем), и глаза детей выглядывали из-за лепестков.

[3] Превращение птиц в людей, по-видимому, особенно часто встречается во снах. Я касался этого в другом месте (*Studies in the Psychology of Sex*, т. I, 3-е изд., с. 193). Интересен и, несомненно, значим тот факт, что то же превращение признается в мифах древних народов. Так, по Х. Х. Бэнкрофту (*Native Races of the Pacific*, т. I, с. 93), пантомимический танец алеутов изображает превращение пойманной птицы в прелестную женщину, которая в изнеможении падает в объятия охотника.

Следует добавить, что в весьма значительной доле случаев сочетания, возникающие во сне, гораздо правдоподобнее любого из только что рассказанных примеров; весь сон может тогда идти столь же обыденным и трезвым путем, как в действительной жизни. Так, переехав в новый район, я увидел во сне, что вхожу в лавку некой фирмы и вижу там служащего, который, как я знал

наяву, прежде ушел из другой лавки той же фирмы; так сложилось вполне вероятное сочетание, и последовавший во сне разговор был столь же естествен и правдоподобен. Мы не стараемся во сне нарочно выдумывать нелепости; мы просто принимаем данные, которые нам предложены, и обходимся с ними так разумно, как позволяют имеющиеся у нас умственные орудия.

Однако сон, сложившийся из сошедшихся вместе пустячных воспоминаний, не всегда бывает так обыден и правдоподобен, как только что рассказанный. В других случаях столь же пустячные воспоминания, сходясь, могут составить фантастическую, полную воображения картину, совершенно чуждую опыту и мысли бодрствования. Так, мне снится, что мой долг — бодрствовать у ложа великого короля, пока он спит. Он лежит на огромной кровати, полностью одетый, в сапогах, укрытый большой багряной мантией. Мне позволено лежать на краю кровати, не под мантией, но ни в коем случае нельзя закрывать глаза: я должен быть готов тотчас откликнуться на его зов. Элементы такой картины столь явно просты и обыденны, что неудивительно, что я не смог найти ни одного из них, который особо занимал бы мое сознание наяву. И все же картина, которую они в ту минуту сложили, сойдясь вместе, — словно осколки цветного стекла в калейдоскопе, — совершенно чужда и моему опыту, и моему воображению.

Источник обычного смешения образов во сне следует искать в весьма различных побуждениях. В значительной доле случаев мы наблюдаем лишь слияние впечатлений, не имеющих никакого действительного сходства, но полученных почти одновременно и допускающих сплавление; так, в одном случае дневные занятия отчасти на птичьем дворе, отчасти в саду привели даму к замыслу во сне — разводить цыплят, сажая в землю куриные головы.

Очень часто, однако, у двух соединенных предметов есть действительное сходство, хотя такое, которое никогда не пришло бы на ум бодрствующему сознанию. Птичий двор доставит пример и такого смешения. Я заснул, думая о друге, который в ту ночь должен был остановиться в некой гостинице, мне не знакомой. Мне приснилось, что я вижу эту гостиницу; фасад ее походил на фасад гостиницы обычного типа, но крыша была плоской и находилась невысоко от земли, так что я мог смотреть на здание сверху и заглядывать во все окна, — такое устройство показалось мне неудачным. При этом способность смотреть на здание сверху не сопровождалась никаким ощущением его малости. Проснувшись, я вспомнил, что накануне жена получила инкубатор для цыплят и вечером мы его рассматривали. Образ гостиницы слился с образом инкубатора.

В другом сне того же типа я вообразил, что нахожусь у дантиста, который собирается вырвать зуб у пациента. Прежде чем наложить щипцы, он заметил мне (поджигая в то же время надушенную тряпицу на конце чего-то вроде палки от метлы, чтобы рассеять неприятный запах), что это самый большой зуб, какой он когда-либо видел. Когда зуб вырвали, я увидел, что он и вправду огромен — в форме котла, со стенками толщиной в дюйм. Достав из кармана мерную ленту (вроде той, что носил с собой наяву), я обнаружил, что поперечник его не меньше двадцати пяти дюймов; внутри он был похож на грубо обтесанную скалу, и там росли водоросли и что-то вроде лишайника. Размер зуба показался мне большим, но не чрезмерным. Хорошо известно, что зубная боль или работа дантиста заставляют зубы казаться непомерно большими; во сне эта склонность царит безраздельно — так, одной моей знакомой однажды приснилось, что в дупле ее зуба играют мыши. Но у только что приведенного сна не было

никакой известной зубной причины; он возник единственно или главным образом из прогулки накануне днем среди скал корнуолльского побережья во время отлива, и фантастическая аналогия, не пришедшая на ум наяву, подсказала себя во сне.

В другом сне, показывающем тот же род смешения образов, действительное сходство которых наяву оставалось незамеченным, мне привиделся на столе маленький ручной гонг обычного типа, по которому бьют молоточком; но когда по нему били раз за разом, он вместо звуков, обычных для гонга, давал вспышки света. Я заключил, что инструмент испорчен, и позвал кого-то его наладить, после чего мы принялись обращаться с ним так, словно это была маленькая батарея из тех, что питают электрические звонки. Гонг этот был мне в то время хорошо знаком по повседневной жизни; накануне я мимоходом заметил, что он стоит не на своем месте. Во сне я открыл сходство, которое действительно существует между гонгом этого типа и рычажком выключателя электрического света, и успокоил некое сомнение, сказав себе во сне, что инструмент служит и для звука, и для света. Это связующее звено и привело к соединению электрической батареи с ручным гонгом, а также к тому, что гонгу была приписана способность давать свет.[4]

[4] Примечательно, что эта отчетливая склонность сновидений открывать аналогии, хотя она, несомненно, свойственна древнейшему мышлению, есть вместе с тем склонность прогрессивная. «Завоевания науки, — говорит Сажре („L'Analogie scientifique", *Revue Philosophique*, январь 1909), — суть завоевания аналогии».

Такой сон служит переходом к другому, очень частому роду смешения образов, когда два совершенно несходных образа сливаются оттого, что у каждого из них в уме есть связующее звено с каким-то третьим представлением. Мне приснилось, что

собака моей жены — пес, который и в действительной жизни постоянно попадал в неприятности, — загрызла ребенка в соседнем городке. Отправившись туда, я вошел в мясную лавку и увидел ребенка на столе, изуродованного и окровавленного. Однако спустя некоторое время я узнал, что убит был не ребенок, а свинья, и то, что я прежде принял за ребенка, теперь явно оказалось мертвой свиньей. Мне стало стыдно своей ошибки, и сочувствие, которое я испытывал, показалось теперь чрезмерным, особенно когда мясник заметил, что все в порядке: он откармливал эту свинью и все равно скоро собирался ее заколоть. Потом свинью вспороли, хотя она делала отчаянные попытки снова ожить, и в это время я проснулся. Ясно, как в этом случае представление о мясной лавке послужило мостом от образа ребенка к образу свиньи. Или вот еще: после дня, когда я получил письмо от незнакомой мне дамы, живущей во Франции, а позже составил изложение уголовного дела, по которому сыщику пришлось ехать во Францию, мне приснилось, будто кто-то говорит мне, что дама, приславшая письмо, служит сыщиком у французского правительства, и это объяснение, хотя и показалось несколько неожиданным, вполне меня удовлетворило. Здесь, как видим, мостом послужило представление о Франции, и спящее сознание воспользовалось им, чтобы дать ответ на вопрос, заданный сознанием бодрствующим.

Смешение образов может быть и более отдаленным, воплощая отвлеченные идеи безо всякой связи с недавними впечатлениями. Так, мне приснилось, что жена излагает мне теорию, согласно которой замена черепицы шифером в кровлях сопровождалась постепенным снижением преступности в Англии и была с ним тесно связана. Я возражал против этой теории, указывая на живописность черепицы, ее дешевизну и большее удобство и

зимой и летом, но в то же время мне пришло в голову как странное совпадение, что у черепицы кровавый оттенок, наводящий на мысль о преступной кровожадности. Едва ли нужно говорить, что эта странная теория никогда не приходила мне в голову наяву. Однако в этом смешении было действительное связующее звено — красный цвет, и примечательно (а для толкования снов это очень важно), что это звено, хотя явно действовало с самого начала, оставалось подсознательным до конца сна, когда предстало как совершенно новое совпадение.

Однажды мне приснилось, что я у врача в его кабинете и вижу у него в руке записку от пациента: тот писал, что от врачей ему толку нет и пользы никакой, а вот недавно он по совету друга принимал немного *selvdrolla*, и это помогло ему больше всего на свете, так что пусть ему пришлют еще. Я ясно видел записку — не то чтобы сознавая, что читаю ее слово за словом, но лишь улавливая ее смысл, пока смотрел на нее; единственное слово, которое я как будто действительно видел буква за буквой, было название лекарства, и оно менялось и колебалось у меня перед глазами, пока я в него вглядывался, и окончательное впечатление было — *selvdrolla*. Врач снял с полки бутылку с ярко-желтой маслянистой жидкостью и отлил немного, заметив, что в последнее время это средство вошло в моду, особенно при болезнях от мочевой кислоты, но стоит чрезвычайно дорого. Я выразил удивление, так как никогда прежде о нем не слыхал. Затем, снова к моему удивлению, он довольно щедро полил из бутылки тарелку с едой, объяснив, что принимать его приятно и не опасно. Это был яркий утренний сон, и, проснувшись, я без труда нашел источники разных его мелких подробностей, в особенности записку, полученную накануне вечером, где была неясная цифра, которую мне пришлось разбирать с карманной

лупой. Но что такое *selvdrolla*, самая яркая часть сна? Я тщетно перебирал недавние воспоминания и почти отказался от поисков, когда вспомнил большую бутылку салатного масла, которую видел накануне вечером на столе за ужином, — вовсе не похожую на бутылку из сна, но с точно такой же жидкостью. *Selvdrolla*, очевидно, было искажением английского «salad oil» — «салатное масло». Этот сон показывает неуверенность сознания во сне, но в то же время показывает и элемент уверенности в *подсознании* сна. Весь сон я сознательно оставался в полном неведении о том, что такое *selvdrolla*, а между тем скрытый элемент сознания все время показывал мне его во все более ясных образах. Мы видим, что подсознательная часть жизни сновидений обходится с сознательной примерно так, как добродушный учитель с ребенком, недоучившим урок: снова и снова дает ему подсказки и намеки, которые непонятливый ребенок схватывает лишь в последнюю минуту или не схватывает вовсе. Это и в самом деле всеобщий метод — метод, которым Природа обходится с человеком на протяжении всей человеческой эволюции.

Как видим, здесь мы подходим к другой особенности жизни сновидений: в снах часто бывает больше, чем способно осознать сознание спящего. С одной стороны, элементы жизни сновидений черпаются из более широкого поля, чем то, что обычно доступно бодрствующему сознанию; с другой стороны, фокус сознания во сне уже, чем у сознания бодрствующего, и оно не может апперципировать всего, что происходит. Здесь одновременно и больше простора, и больше тесноты, чем в душевной жизни мира бодрствования. Очень большая часть душевной жизни сна находится вне нашей власти, а кое-что даже вне поля нашего зрения.

Следует заметить, что непрерывное движение и постоянное слияние образов, которые составляют самую основную черту жизни сновидений, на деле соединяют в себе две особенности, отвлеченно говоря, различные. Склонность образа сна вечно меняться, вечно выпускать какую-то новую черту, более или менее коренным образом меняющую его природу, — явление не совсем той же природы, что склонность двух определенных образов, хорошо знакомых бодрствующему сознанию, сливаться во сне, сознательно или бессознательно. На практике, однако, никакой разграничительной черты здесь нет. Происходит вот что: образ непрестанно и самопроизвольно меняется, и каждую перемену сознание во сне тотчас узнает как знакомый предмет. Так, мне приснилось, что я в гостиной и вижу красивую и привлекательную женщину в необычайно открытом вечернем платье, совершенно обнажающем грудь; затем между грудями появились три лишних соска, и я понял во сне, что передо мной случай добавочных грудных желез, достаточно любопытный для науки, чтобы потом тщательно его исследовать; а потом, пока я смотрел, я увидел на теле множество маленьких мясистых выпуклостей вроде сосков и тут понял, что на самом деле вижу случай редкой кожной болезни, называемой *molluscum fibrosum*. Так непрерывно колеблющийся и развивающийся образ оказывается вместе с тем чередой совершенно разных образов. С другой стороны, когда нам кажется, что сливаются два определенных образа, на деле мы в большинстве случаев видим, как один образ перетекает в другой, постепенно теряя прежний характер. В обоих случаях процесс один и тот же — взаимная игра автоматических периферических образов и центральных идей, вводится ли новый образ в фокус как бы течением в сознании или его просто подсказывает самопроизвольная перемена

предыдущего образа. Насколько образ подсказывает идею или идея образ — в большинстве случаев сказать чрезвычайно трудно. Явление, которое мы наблюдаем, — непрерывно тающая картина; о живом процессе, стоящем за этим явлением, нам обычно приходится мириться с неведением.

Иногда бывает, что образ сна медленно преображается, а спящий этого превращения не замечает. Так, образ куклы может принять черты человеческого существа. В подобном сне — возможно, навеянном «Будущей Евой» Вилье де Лиль-Адана, хотя эта книга давно не приходила мне на ум, — я вообразил, что одной знакомой мне даме (кто она, я, проснувшись, не мог вспомнить) вздумалось завести искусственную женщину, сделанную с огромной изобретательностью и за огромные деньги. Кожа и волосы казались настоящими, что я с некоторым ужасом заметил, разглядев груди и подмышки, но местами — особенно мне запомнилась одна рука — создание было столь же несовершенно, как плохо сделанная кукла. Однако оно могло ходить, если его немного поддерживать, и, что самое удивительное, разумно отвечало на вопросы; только это и вызвало у меня некоторое удивление. То, что в начале сна было лишь искусственным изображением, явно становилось живым человеком, и легко поверить, что такие предания, как история статуи Пигмалиона, могли быть подсказаны переживаниями сна.

Сон — это прежде всего тающая картина, потому что для большинства из нас он прежде всего явление зрительное. У людей, которые — во снах, во всяком случае, если не наяву, — принадлежат в основном к слуховому типу, бывают сны, где слова играют ту же самую переменчивую, развивающуюся и тающую роль, какую у людей более выраженного зрительного типа играют образы. В своих снах они похожи на тех душевнобольных,

у которых в некоторых состояниях слабоумия и спутанности проявляются эхолалия и конфабуляция: их мысли плывут по ассоциативным путям наименьшего сопротивления, подсказанным каждым случайно услышанным словом. Мори описывает череды образов сна, нанизанные подобным же образом на вереницу словесных превращений; так, в одном часто цитируемом сне сцены были связаны словами *kilomètre, kilos, Gilolo, Lobelia, Lopez, loto*.[5] В таком случае основу сна составляет вереница словесных слуховых образов. Вероятно, это редкость. У большинства людей основу сна дают зрительные образы, а слуховые лишь изредка служат ассоциативным звеном и чаще подчинены зрительным элементам.

[5] Мори, *Le Sommeil et les Rêves*, с. 115.

Особенности речи во сне весьма основательно исследовал Крепелин,[6] собравший двести восемьдесят один пример, отчасти наблюденный на себе самом, хотя они и не часты; Крепелин полагает, что слуховые центры засыпают глубже зрительных, поскольку глаза и так достаточно защищены веками.[7] Крепелин делит речевые расстройства сна на две большие группы: 1) *парафазия*, или расстройство подбора слов, когда идея связывается с неверным словом, иногда новообразованным[8]; 2) *расстройства строя речи*, при которых особенность заключается не в словах, а в их порядке. Речевые расстройства сна, замечает Крепелин, проистекают из глубокого расстройства мышления, подобного тому, что бывает при сенсорной афазии, и, как при такой афазии, спящий думает, что его бессвязная речь вполне ясна и разумна. Почти то же может наблюдаться при алкогольном бреде и при *dementia praecox*.

[6] Крепелин, «Über Sprachstörungen im Traume», *Psychologische Arbeiten*, т. V, 1906, с. 1–104; ср. Ломбар, «Glossolalie», *Archives de Psychologie*, июль 1907.

[7] Это подтверждается тем, что под хлороформным наркозом слух первым из чувств пропадает, а зрение последним (Элмер Джонс, «The Waning of Consciousness under Chloroform», *Psychological Review*, январь 1909).

[8] Нелишне, пожалуй, напомнить, что образование новых слов довольно обычно у маленьких детей; см., например, любопытную переписку в *Nature*, 26 марта и 9 апреля 1891.

Изобретение новых слов, вероятно, часто происходит во снах, не оставляя ясного следа в памяти, а еще чаще, пожалуй, как в уже описанном сне о «selvdrolla», встречаются мнимые словесные новообразования, которые на деле лишь искажения не вполне осознанных слов. Пример определенного и точного нового слова, по-видимому, дает следующий сон, во всех отношениях яркий и отчетливый. Я увидел совсем близко от себя огромную рыжевато-бурую птицу с оранжевым клювом. Птица поднялась и отошла, и казалась она ростом со страуса. Я спросил стоявшую рядом даму, немного знавшую орнитологию, что это за птица, и она ответила, что, по ее мнению, это *jaleisa*. Тогда я задал тот же вопрос проходившей мимо бедно одетой женщине, любопытствуя, что скажет она; та ответила: «Да это вроде скворца». Во сне у меня не было ни малейшего сомнения в написании слова «jaleisa», но объяснить это слово я совершенно не в силах.[9] Случилось, однако, так, что перед сном я читал одну из пьес Кальдерона, и я полагаю, что это псевдоиспанское слово сложилось в моем мозгу среди отзвуков чарующей музыки Кальдерона. Возникает вопрос, почему эта простая старушка назвала jaleisa скворцом. Не исключено, что более привычное название подсказал последний слог имени странной птицы и связь была словесной. Столь же возможно, а пожалуй, и вероятнее, что ассоциация пошла более

обычным, зрительным путем и оранжевый клюв jaleisa напомнил большие оранжевые клювы только что вылупившихся скворчат, которые однажды, много лет назад, живо привлекли мое внимание.

[9] Едва ли оно может происходить от незнакомого слова *chalizah* — еврейского названия левирата.

Вероятный пример того, как словесная ассоциация отклоняет течение сна, виден в следующем мучительном рассказе. Одной даме приснилось, что она пошла на некое собрание, которое оказалось чем-то вроде собрания «пробуждения», под председательством дамы, полного шума и смятения. Вдруг выяснилось, что под залом находится ад, и какого-то человека, будто бы раба, растерзали и бросили в ад. Одна из присутствующих дам была так потрясена этой сценой, что бросилась в пруд и утонула, а тело ее потом вытащил вилами рабочий. Сновидица была так подавлена этими трагическими событиями, что почувствовала: ей не остается ничего иного, как покончить с собой. Решив утопиться, она пошла к маяку на возвышенности (впрочем, он несколько походил на купальную кабинку на колесах), чтобы броситься оттуда в море. Море было изысканного зеленого оттенка, необычайно прекрасное и манящее, но у нее не хватило духу прыгнуть. Она подумала, что, быть может, наберется храбрости, если сперва хорошо поест, и потому вернулась в зал и присоединилась к даме, председательствовавшей на собрании. Они сели за блюдо жареной баранины, но во время еды вдруг взглянули друг на друга с взаимным пониманием: они поняли, что едят ту женщину, которая утонула и которую, заметим, вытащили из воды вилами. Каждый элемент, из которого сложился этот сон, удалось объяснить, но трагический характер его ничем не подкреплялся в

бодрствующей жизни и целиком был порождением самого сна. Возможность направляющей связи между словами «Hell» (ад) и «hall» (зал) не приходила в голову ни сновидице, ни мне, когда я записывал этот сон в том виде, в каком он здесь приведен. Следует, однако, заметить, что собрание «пробуждения» уже само по себе могло навести на мысль об аде. По-видимому, словесные ассоциации обычно играют лишь подчиненную роль.

Иногда словесные звенья ассоциации во сне, вместо того чтобы вносить трагедию, ведут к каламбурам, соединяя два одинаково звучащих слова. Так, одному сновидцу представилось, будто он с друзьями разглядывает дом, у которого спальня или спальни открыты наружу, так как передней стены нет, и они смеются над комичным видом, как вдруг таинственный голос произнес: «A three-walled bedroom is a side-burst stor(e)y» — «Спальня о трех стенах — это этаж с распоротым боком». Проснувшись, сновидец поймал себя на том, что смеется над этим сопоставлением: storey — этаж дома, у которого распорот бок, и story — история, от которой бока надорвешь. Условия душевной деятельности во сне — когда идеи стекаются из далеко отстоящих областей по ассоциативным путям, обычно запертым высшими умственными процессами, — по-видимому, и в самом деле особенно благоприятны для каламбуров и родственных видов остроумия.[10] Поэтому их можно с полным правом считать тесно связанными с подсознательной деятельностью.[11]

[10] Так, наяву я почти никогда не пробовал сочинять пародии, но однажды в Монсеррате, когда мысли мои были далеки от всего смешного, мне приснилось, что я сочиняю пародию (не вполне ясно, на что), подсказанную, по-видимому, гусиным прудом в клуатре Барселонского собора.

[11] Эту точку зрения особенно развил Фрейд, *Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten*.

Словесное звено видно и в следующем «рецепте», который тот же сновидец сочинил в другой раз:

«Чижика кликни, хвост отруби ему, друг,
Яйца в кастрюлю сверни поплотней,
Сядь на остаток, как старый петух,
И заглоти все, как конь, поскорей».

Ясно, что «чижик» (по-английски tipcat, где слышится cat — «кошка») подсказал кошачий хвост, а намек на кулинарный рецепт в словах «отруби хвост» повел дальше, к яйцам и кастрюле; яйца подсказали «сидение» на них, а «глотать» (gulp), как отметил сам сновидец, явилось в виде «галопа» (gallop) и подсказало коня. Легкость, с какой все это сложилось в полностью рифмованную шуточную строфу, объясняется тем, что сновидец — поэт.[12]

[12] Можно заметить, что похожие шуточные вирши иногда сочиняют душевнобольные; см., например, *Journal of Mental Science*, апрель 1907, с. 284.

По моему опыту, чаще, чем ассоциация по словесным зацепкам, встречается перевод из зрительных понятий на язык какого-то другого чувства и повторение в этой форме. Так, одной даме снится, что перед ней складывается большая и очень красивая картина, похожая на гобелен, и на ней она видит себя самое, только гораздо прекраснее сложением, стоящей у дерева, а по другую сторону дерева стоит старый друг, и вокруг толпа людей. Затем она видит, как друг касается ее руки. В тот же миг сновидица ощущает прикосновение. Зрительный образ удвоен в двигательной форме. Такое явление — несомненно, естественное следствие особых условий жизни сновидений. Наяву чувства работают согласованно, и если мы видим, что нас коснулись, то, вероятно, и почувствуем прикосновение. Но во сне тело — лишь видение, а не наше настоящее тело, и, когда мы видим, что его

коснулись, мы понимаем, что должны это почувствовать, — так осязательное ощущение подсказывается и переживается.

Есть, однако, и другие удвоения, к которым это объяснение неприменимо. Так, мне представилось, что я сижу у окна на верхнем этаже дома и пишу. Подняв глаза от стола, я увидел — со всеми чувствами, какие естественно сопровождают такое зрелище, — как женщина в ночной рубашке появилась в высоком окне на некотором расстоянии и бросилась вниз. Я, однако, продолжал писать и обнаружил, что в ходе моей литературной работы — не помню точно, какого рода, — следующее, что мне предстояло сделать, было описать в точности такую сцену, какую я только что видел. Я был чрезвычайно озадачен столь необычайным совпадением: оно казалось мне совершенно необъяснимым. В другой раз мне снилось, что я поднимаюсь вверх по Темзе (по-видимому, на пароходе) и читаю роман, написанный моим другом, — историю человека, который, по совпадению, показавшемуся мне необычайным, приезжает в Англию, поднимаясь по Темзе к Лондону точно так же, как я в ту минуту. Потом я как будто очутился на краю лондонской пристани, у ног моих плескалась река, а впереди открывалась великолепная панорама Лондона — именно та сцена, которая, менее подробно, была описана в книге. Такие сны, удваивающие образы в новой чувственной среде, довольно обычны — во всяком случае, у меня. Ассоциация здесь идет не столько по аналогии, сколько по чувственным средам — как когда зрительный образ становится словесно-двигательным. В других случаях сцена сперва видится как действительность, а потом как изображение. Так, мне снилось, что я присутствую на выступлении оркестра и замечаю, что у всех музыкантов инструменты старинного образца, которые, как я понял, постоянно были в употреблении несколько сотен лет;

проснувшись, я мог припомнить форму многих из них, и ни один не был вполне современным; но я не мог припомнить характера музыки, которая, кажется, не произвела на меня никакого впечатления, потому что я был поглощен разглядыванием формы инструментов. Особенно я приметил висевшую во сне на стене старую гравюру в раме, изображавшую как раз один из инструментов, на которых играли, и понял, что он называется *bourdon*.[13] Любопытно наблюдать то глубокое изумление, с каким спящее сознание апперципирует столь простое удвоение.

[13] Этот сон не имел никакого известного источника, и слово *bourdon* не вызывало у меня никаких сознательных ассоциаций; я даже не знал определенно, что оно употребляется в музыкальном смысле.

Во сне сводятся вместе планы бытия, которые наяву коренным образом различны, так что события, принадлежащие разным планам, движутся в одной плоскости и даже соединяются. Игра на сцене и жизнь, изображение и действительность уже не разделены безусловно. Искусство и жизнь текут одним руслом. Причина, несомненно, в том, что для спящего мир бодрствования, мир вещей, каковы они для бодрствующих чувств, закрыт и не может быть даже полностью вызван в памяти. Поэтому все способы представления стоят строго на одном уровне, и потому совершенно естественно и логично, что они стоят рядом и перетекают друг в друга.

ГЛАВА III. ЛОГИКА СНОВИДЕНИЙ

✦

Всякое сновидение есть процесс рассуждения — Основная природа рассуждения — Рассуждение как синтез образов — Рассуждение во сне инстинктивно и автоматично — Оно ведется и сознательно — Это следствие коренного раскола разума — Диссоциация — Сновидение как расстройство апперцепции

Во сне мы всегда рассуждаем. Это общая черта сновидений, которую стоит отметить, потому что значение ее обычно не признается. Порой воображают, будто во время сна разум бездействует.[14] Отнюдь нет: можно почти сказать, что во сне мы рассуждаем гораздо больше, чем наяву. То, что рассуждаем мы плохо, часто даже несообразно, что рассуждение наше постоянно пренебрегает самыми простыми фактами бодрствующей жизни, мало меняет дело. Всякое сновидение есть процесс рассуждения. То искусное смешение идей и образов, о котором я с самого начала говорил как о самой постоянной черте механизма сновидений, есть не что иное, как процесс рассуждения, непрестанное усилие стройно осмыслить до нелепости скудные и несообразные данные, предстающие спящему сознанию. Бине, основывая свои выводы на опытах с гипнозом, находит, что рассуждение — основная часть всякого мышления, самая ткань мысли.[15] Оно коренится в самом восприятии, которое уже содержит все элементы древнего силлогизма. Ведь во всяком восприятии, как убедительно доказывает Бине, есть последовательность трех образов, из которых первый сливается со вторым, а тот в свою очередь подсказывает третий. И это установление новых

ассоциаций, это построение образов — а именно оно, как легко убедиться, и происходит в сновидении — и есть само рассуждение.

[14] Фрейд сводит вместе (*Traumdeutung*, с. 38 и далее) некоторые из различных мнений о рассуждении во сне.

[15] «Рассуждение, — пишет Бине (*La Psychologie du Raisonnement*, 1886, с. 10), не имея в виду сновидений, но словами, в точности к ним приложимыми, — есть организация образов, определяемая одними лишь свойствами самих образов; достаточно поставить образы рядом, и они организуются; вывод следует с уверенностью рефлекса».

Рассуждение, таким образом, можно рассматривать как синтез образов, подсказанных сходством и смежностью, — своего рода логическое видение, даже более напряженное, чем действительное зрение, раз оно способно порождать галлюцинации. К рассуждению можно в конечном счете свести все формы умственной деятельности; ум, как сказал Вундт, — это то, что рассуждает. Или, как выражается Г. Р. Маршалл, «разум есть вид инстинкта».[16] Применяя эти общие положения к сновидению, мы видим, что все явление сновидения есть, в сущности, тот же процесс образования образов на основе сходства и смежности. Каждый сон — плод этого напряженного, широко охватывающего инстинкта рассуждать. Мнимая «способность воображения», которую считают столь деятельной во сне, есть неизбежная игра этой автоматической логики.

[16] Г. Р. Маршалл, *Instinct and Reason*; его же, «Reason a Mode of Instinct», *Psychological Review*, март 1899.

Силлогистическое упорядочение образов сна совершается совершенно автоматически; оно самопроизвольно, непроизвольно, без усилия. Спящее сознание, хотя все время с огромной изобретательностью сплетает доходящие до него

данные в какой-то разумный узор, совсем не сознает, что само отвечает за предъявляемые ему доводы. Вечером, перед сном, я бегло просматриваю газету; вижу обычные новости — революционеры в России, ирландские дела, преступления и т. д.; вижу и карикатуру на Либеральную партию в виде безголового всадника на голой равнине. Во сне эти несвязанные впечатления оживают, вплывают в сознание сна и самопроизвольно складываются в настолько разумное целое, насколько можно было ожидать. Мне снится, что некий человек каким-то химическим или механическим ухищрением сумел создать впечатление, будто у него нет головы, и готовится проскакать галопом через какую-то область России, рассчитывая произвести на местных жителей столь таинственное впечатление, что его примут за великого религиозного пророка. Я отчетливо вижу, как он мчится по пескам, похожим на морской берег, но стараюсь к нему не приближаться. Потом я вижу, как вдали к нему подходят какие-то фигуры, и его скачка прекращается. Впоследствии я узнаю, что его арестовали и что он оказался ирландским преступником. Так из нескольких случайных впечатлений складывается связный рассказ.

Все такие типичные сны силлогистичны. Иначе говоря, здесь, как выражается Бине, устанавливается ассоциация между двумя состояниями сознания посредством промежуточного состояния, которое сходно с первым, ассоциировано со вторым и, сливаясь с первым, связывает его со вторым. В этом сне, например, у нас три термина: 1) безголовый всадник, 2) революционное преступление и 3) Россия и Ирландия. Промежуточный термин, оттого что он сходен с первым и смежен в уме с третьим, как бы сливает первый и третий термины, так что безголовый всадник становится ирландским преступником в России. Во сне, как и наяву, наш ум

всегда движется, строя подобные силлогизмы, отмеченные большей или меньшей свободой и смелостью.

Нет нужды умножать примеры инстинктивных и упорных усилий спящего ума построить связное целое из несообразных элементов, которые перед ним возникают; почти каждый сон доказывает этот глубоко укорененный порыв.[17] Поучительно, однако, рассмотреть природу и пределы разума во сне.

[17] Некоторые из самых методично нелепых примеров логики сновидений нельзя привести с пользой: они настолько личны, что требуют долгих объяснений, чтобы стать понятными.

Нужно понять, что эта рационализация и логическое построение образов происходят на самом пороге спящего сознания. Спящий не прилагает никаких усилий, чтобы упорядочить разрозненные образы; упорядочение уже совершилось, когда образы достигают фокуса спящего сознания; так что этот процесс рассуждения и упорядочения настолько основополагающ и инстинктивен, что протекает в области, которую можно назвать подсознательной для сознания во сне. Не будь этого, наши сны никогда не были бы для нас реальны, ибо даже сознание во сне не могло бы принять за действительность галлюцинацию, которую само же устроило. В этом смысле верно, что в известной мере наши сны часто опираются на глубинную личную и эмоциональную основу.[18]

[18] Делакруа («Sur la Structure logique du Rêve», *Revue de Métaphysique*, ноябрь 1904), возражая Леруа и Тоболовской, заходит так далеко, что говорит: «смысл сна, истолкование образа дается в образе, прежде образа, если можно так выразиться; мы имеем дело не с простой вереницей образов без внутренней связи, но вводимся в заранее установленную организацию; целое разлагается, а не отдельные элементы соединяются». Нужно помнить, что в жизни сновидений, как и в жизни бодрствования, действие двояко: в обоих мирах, когда наша душевная деятельность слаба, мы соединяем внешние образы в довольно объективную картину; когда душевная деятельность напряженна, внешние образы подчиняются этой деятельности и направляются ею.

Но это искусно направляемое и рационализированное смешение образов отнюдь не исчерпывает всего процесса рассуждения во сне. Процесс этот двойной. Сначала он проявляется подсознательно — в образовании образов сна, а затем сознательно — в ответе спящего на представленные ему образы. Каждый сон складывается из действия и противодействия между мнимой вселенной и свободно отвечающей ей личностью. С одной стороны — неотвратимо навязанные образы, на деле, хотя мы того и не знаем, обусловленные и инстинктивно вылепленные нашим собственным организмом, — они стоят на месте того, что в часы бодрствования мы можем назвать Богом и Природой; с другой стороны — Душа, которая изо всех сил и весьма недостаточными средствами борется против грозных сил, ей противостоящих. Задача мира бодрствования ставится заново в этой битве между героем сна и его сновиденной судьбой. Оба эти элемента инстинктивно выводятся рассуждением — сознательно или подсознательно; оба — несовершенные обломки из богатого хранилища человеческой личности.

То, что случается с нами во сне, — мнимо-внешний мир, предстающий спящему сознанию, иначе говоря, образы, плывущие перед мысленным взором сна, — служит для спящего неиссякаемым источником изумления и рассуждений. Значительная часть деятельности сновидения занята попытками объяснить и продумать встреченные так явления, построить их теорию или определить, как нам следует к ним отнестись. Большинство снов дает свидетельства этого процесса рассуждения.

Так, одной даме приснилось, что некто из ее знакомых хочет переслать небольшую сумму денег одному человеку в Ирландии. Она опрометчиво вызвалась отвезти деньги в Ирландию сама.

Вернувшись домой, она начала раскаиваться в своем обещании, так как погода стояла чрезвычайно бурная и холодная. Все же она стала готовиться, чтобы потеплее одеться, и пошла посоветоваться с подругой-ирландкой, которая сказала, что переправлять ее в Ирландию придется по воде, плотно втиснутой в корзину для крабов. Вернувшись домой, она подробно обсудила дело с мужем, который счел, что пускаться в такое путешествие было бы безрассудством, и в конце концов она от него отказалась, с большим облегчением. В этом сне — все элементы которого удалось объяснить — ассоциация между пересылкой денег и почтой, которая сразу пришла бы на ум бодрствующему сознанию, была закрыта; сознание было во власти тех подсказок, какие до него доходили, но на их основе рассуждало и делало выводы вполне здраво.

Или вот: посмотрев фотографии картин и статуй, а также почитав о театре, я увидел во сне, что нахожусь в театре и что актеры играют и танцуют более или менее, а некоторые и вовсе обнаженными, но с замечательной благопристойностью и изяществом и с очень милым впечатлением. Сначала я был чрезвычайно удивлен столь примечательным новшеством; но потом рассудил, что начала такого движения, должно быть, давно уже складывались на сцене без моего ведома, и принялся перебирать доводы, по которым такое движение желательно. В другой раз мне снилось, что я на большой *plaza* испанского города (элементы картины, возможно, дала Памплона) и что губернатор вышел из своей резиденции, обращенной к площади, и заговорил по-английски с подчиненными чиновниками, ожидавшими его. Настоящая причина, почему он говорил по-английски, была, разумеется, простой: он говорил на родном языке спящего. Но во сне меня чрезвычайно озадачило, почему он говорит по-

английски. Я внимательно вгляделся ему в лицо, чтобы удостовериться, что он на самом деле не англичанин, и в конце концов заключил, что он говорит по-английски, чтобы его не поняли окружающие. И еще: мне снилось, что я рассматриваю архитектурный чертеж шпиля весьма своеобразного замысла — отчасти в форме креста, но очень вытянутого. Я пытался во сне объяснить эту вытянутость и заключил, что она призвана уравновесить перспективное сокращение, которое возникнет, когда на шпиль будут смотреть снизу.

Здесь мы снова видим коренной раскол разума во сне. С одной стороны — подсознательное, но часто весьма разумное сочетание образов по разумным, хотя нередко причудливым линиям. С другой — сосредоточенный сознательный разум спящего, силящийся понять и объяснить задачи, которые ставят ему предъявленные таким образом мнимо-внешние образы. Можно почти сказать, что во сне подсознательный разум играет в игру с разумом сознательным. В сне, рассказанном выше, подсознательный разум предложил моему спящему сознанию таинственное вещество *selvdrolla* и велел угадать, что это такое; угадать я не смог. А когда подсознательный разум предъявил чертеж вытянутого шпиля, я смог дать объяснение, которое кажется довольно удовлетворительным. Так что в мире сновидений, можно сказать, мы снова видим тот процесс, который, как любил говорить Джеймс Хинтон, мы видим во вселенной нашей бодрствующей жизни: Бог или Природа играет с человеком, заставляет его участвовать в игре в прятки и задает ему задачи, которые он должен решать, как умеет. Вполне может быть, добавим, что процесс сновидения дает ключ к метафизическим и даже, пожалуй, к физическим задачам нашей бодрствующей мысли и что загадки вселенной — вопросы,

которые мы сами бессознательно придумываем для себя, чтобы их решать.

Мы никогда не можем заглянуть за пределы фантастической вселенной наших снов. Для сознания во сне ее подлинность неоспорима. Мы можем пытаться понять ее и объяснить, но никогда не можем ее отрицать — так же как не можем отрицать вселенную нашей бодрствующей жизни, как бы ни пытались ее анализировать. Сознание во сне никогда не понимает, что противостоящая ему вселенная исходит из того же источника, что и оно само. Мне приснилось, что некий человек смотрит издали на свой дом и видит на балконе свою дочь, а рядом с ней мужчину. «Кто это любезничает с моей дочерью?» — спросил он. Он достал бинокль, посмотрел в него и воскликнул: «Боже правый, да это я сам!» Сознание во сне приняло это положение с полной невозмутимостью и серьезностью. В мире сновидений, по правде говоря, ничего иного и не остается. Мы можем ломать голову над представленными нам фактами; можем пытаться их объяснить; но отрицать их было бы напрасно, даже когда они допускают, что человек может находиться в двух местах одновременно.[19]

[19] Нечто похожее — ошибочное отделение себя от самого себя — может на мгновение случиться и наяву. Так, Джастроу (*The Subconscious*, с. 137) упоминает о «провале сознания» у студентки, которая, погрузившись в работу, услышала за дверью шарканье резиновых каблуков, какие носила сама, и сказала: «Вон идет —», назвав свое имя. Это заблуждение, несомненно, было вызвано вторжением сноподобного состояния рассеянности. Что касается зрительного призрака самого себя (его порой видели люди весьма выдающегося ума), можно заметить, что ему благоприятствуют условия жизни сновидений. Все образы наших снов картинны, иногда даже для сознания во сне, и увидеть себя на картине поэтому не намного удивительнее, чем наяву наткнуться на самого себя в пачке фотографий.

Лишь к немногим людям порой приходит во сне смутное понимание нереальности переживаемого: «В конце концов, это

неважно, — способны они сказать себе с большей или меньшей убежденностью, — это всего лишь сон». Так, одна дама, которой снится, что она пытается убить трех больших змей, топча их ногами, гадает, все еще во сне, что значит видеть во сне змей,[20] а другая дама, когда ей снится, что она попала в какое-нибудь неприятное положение — например, ее вот-вот застрелят, — часто говорит себе: «Ничего, я проснусь раньше, чем это случится».

[20] Что касается значения змей в снах, можно отметить, что последователи Фрейда считают их в снах женщин, как и в речи и мифах древних народов, эротическими символами (например, Карл Абрахам, *Traum und Mythus*, 1909, с. 19). Следует, однако, помнить, что эта эротическая символика — лишь малая часть того эмоционального интереса, который вызывают змеи, чрезвычайно частый источник страха, особенно у молодых. См., например, Стэнли Холл, «A Study of Fears», *American Journal of Psychology*, 1897, с. 205 и далее.

Я никогда не замечал в собственных снах никакого понимания того, что это сны. Могу даже сказать, что не считаю такое действительно возможным, хотя это засвидетельствовано многими философами и не только ими, начиная с Аристотеля, Синезия и Гассенди. Явление бывает: человек, который говорит себе, что видит сон, верит, что все еще спит, но позволительно усомниться, так ли это. Гораздо вероятнее, что он на мгновение, сам того не сознавая, вынырнул на бодрствующую поверхность сознания.[21] Единственное приближение к узнаванию сна как сна, какое я испытывал, связано с удвоением, которое иногда бывает, и с чувством роковой предопределенности. Так, мне приснилось (причем ничто не могло подсказать этот сон), что я один из группы людей, которые, как я понимал, разыгрывают драму, где мне в силу обстоятельств суждено быть злодеем — дурное обращение довело меня до мести. Я с самого начала знал, чем кончатся события, и все же, хотя это казалось настоящей жизнью,

смутно чувствовал, что все это лишь пьеса, которую репетируют. В мире сновидений я достиг шекспировского чувства, что весь мир — сцена, а я в нем лишь актер. Так мы можем стать Просперо жизни сновидений.[22]

[21] Бывает даже, что человек наполовину просыпается, замечает, что происходит вокруг, разговаривает об этом, снова засыпает, а утром воображает, что весь этот эпизод ему приснился. Хаммонд, который тоже отрицает, что можно видеть во сне, будто видишь сон, приводит в пример такой случай (*Treatise on Insanity*, с. 190).

[22] Видение мира сновидений, которого мы так достигаем, в точности соответствует философии жизни, изложенной Жюлем де Готье, пожалуй, самым тонким и самобытным из ныне живущих мыслителей; по Готье, душевная импровизация, создавшая зрелище мира, как бы поклялась «никогда не узнавать себя под масками, которые она надела, чтобы сохранить радость нескончаемой игры непредвиденного».

Это свойство сознания во сне есть проявление — и притом главное — того, что называется *диссоциацией*.[23] В диссоциации перед нами явление, которое проходит через всю жизнь сновидений и едва ли менее основополагающе, чем процесс слияния, которым строятся образы. То, что рассуждение во сне обычно плохо, объясняется отчасти отсутствием элементов памяти, которые присутствовали бы в бодрствующем сознании, отчасти отсутствием чувственных элементов, которые проверили бы ложное рассуждение, кажущееся нам без них неопровержимым. Иначе говоря, идет процесс диссоциации, при котором обычные пути ассоциации временно перекрыты — быть может, оттого, что истощены их проводящие элементы, — и подготовлены условия для образования галлюцинации. Именно во сне и в тех похожих на сон состояниях, которые называют гипнагогическими, как доказывал Пэриш, всего легче возникает состояние диссоциации, ведущее к галлюцинации.[24]

[23] Диссоциацию можно определить как состояние, при котором, по словам Таннери (*Revue Philosophique*, октябрь 1898), «различные органы мозга, которые в бодрствующем состоянии выполняют раздельные функции в удовлетворительном согласии, находятся, напротив, в состоянии полунезависимости». Происходит, по словам Гринвуда (*Imagination in Dreams*, с. 41), «ослабление умственных уз», соответствующее расслаблению мышечного напряжения, которое тоже наступает перед сном.

[24] Эдмунд Пэриш, *Hallucinations and Illusions: A Study of the Fallacies of Perception* (Contemporary Science Series), 1897. Знаменательно, что при истерии, которую можно рассматривать как состояние, несколько сходное со сном, тоже возникает диссоциация. «Истерия, — говорит Жане (*The Major Symptoms of Hysteria*, 1907, с. 332), один из величайших знатоков предмета, — есть форма душевной подавленности, отличающаяся сужением поля личного сознания и склонностью к диссоциации и обособлению системы идей и функций, составляющих личность».

Вот почему, хотя душевная граница спящего состояния шире, чем у обычного бодрствования, фокус спящего сознания уже, чем у бодрствующего. Иными словами, хотя факты могут приплывать под наше внимание во сне с очень большого душевного расстояния, мы не можем по своей воле водить прожектор этого внимания по столь же широкому полю, как наяву. Мы имеем дело с меньшим числом душевных элементов, хотя элементы эти черпаются из более широкого поля.

Психология «внимания» — предмет, правда, весьма спорный.[25] Нет согласия в том, центрально оно или периферично, двигательно или чувственно. Как мы видели в предыдущей главе, разумно, по-видимому, заключить, пользуясь удобным различением, установленным Рибо, что непроизвольное внимание во сне сохраняется, а произвольное сведено к минимуму. Так или иначе, по-видимому, какую бы теорию внимания мы ни приняли, нам приходится признать, что во сне внимание ограничено.

[25] Теории внимания ясно и сжато изложены у Нейрака: «Le Processus et le Mécanisme de l'Attention», *Revue Scientifique*, 7 апреля 1906.

Это положение подкрепляется выводом тех, кто рассматривает задачу не столько в понятиях внимания, сколько в понятиях апперцепции. Апперцепция, по Вундту, отличается от перцепции тем, что последняя есть появление содержания в сознании, а первая — его принятие в состояние внимания. Или, как определяет ее Стаут, апперцепция — это «процесс, посредством которого душевная система присваивает новый элемент или иным образом получает новое определение».[26] Апперцепция, следовательно, — завершающая стадия внимания и в конечном счете, как замечает Вундт, одно с волей. Апперцепция и воля, как считает большинство психологов, подобно вниманию, во сне ослаблены и уменьшены, если не упразднены вовсе.

[26] Дж. Ф. Стаут, *Analytic Psychology*, т. II, с. 112. В *Dictionary of Philosophy and Psychology* Стаут и Болдуин определяют апперцепцию как «процесс внимания в той мере, в какой он включает взаимодействие между представлением предмета внимания, с одной стороны, и всем предшествующим содержанием сознания вместе с заранее сложившимися душевными предрасположениями — с другой».

Вот и выходит, что во сне мы принимаем представленные нам факты — это основное допущение жизни сновидений — и рассуждаем об этих «фактах» с помощью всех имеющихся у нас умственных средств, только средств этих часто недостаточно. Иногда их недостаточно до поразительного — настолько, что мы не подозреваем о возможностях, которые первыми пришли бы на ум бодрствующему сознанию. Так, дама, желавшая переслать небольшую сумму денег в Ирландию, не знает о существовании почтовых переводов, а решив отвезти деньги сама, не знает ни о поездах, идущих к пароходу, ни даже о кораблях вообще; она словно живет в палеолите. Она обсуждает вопрос ясно и логично с

теми средствами, какие у нее есть, и приходит к разумному выводу, но соображения, которые первыми пришли бы на ум бодрствующему сознанию, в ту минуту отсутствуют в сознании спящем; целые области ума диссоциированы, отключены от связи с сознанием; они «спят» даже для спящего сознания.[27]

[27] Очень похожее положение вещей встречается при некоторых формах душевной болезни, особенно в менее глубоких состояниях спутанности, когда, как замечает Болтон («Amentia and Dementia», *Journal of Mental Science*, июль 1906, с. 445), мы находим «некие связанные между собой остатки прежнего опыта, соединенные в последовательность по обычным законам душевной ассоциации».

В итоге мы не только находимся во власти внушения наших видений, но и не способны должным образом оценить и подвергнуть критике предстающие перед нами положения. Мы инстинктивно продолжаем рассуждать, и рассуждать ясно и логично, с тем материалом, какой у нас есть, но наше рассуждение безнадежно нелепо. Во сне мы воспринимаем, но не апперципируем; иначе говоря, мы не можем проверить и просеять новый опыт и должным образом согласовать его со всем запасом приобретенного нами умственного достояния. Явления сновидения прекрасно показывают, что рассуждение в его грубом виде — лишь самая простая и начальная форма умственной работы и что более тонкие формы мышления заключают в себе гораздо больше, чем логику. «Всем мышлением на свете, — как говорит Гете, — до мысли не додуматься».

ГЛАВА IV. ОРГАНЫ ЧУВСТВ В СНОВИДЕНИЯХ

✦

Во всех сновидениях, вероятно, есть и презентативные, и репрезентативные элементы — Влияние осязательных ощущений на сновидения — Сны, вызванные слуховыми раздражителями — Сны, пробужденные запахами и вкусами — Влияние зрительных раздражителей — Трудность различить действительные и воображаемые возбуждения чувств — Влияние внутренних раздражителей от внутренних органов на сновидения — Эротические сны — Сны от мочевого пузыря — Сны от сердца и их символизм — Продромальные сны — Пророческие сны

В начале я временно принял обычное деление сновидений на два класса: периферическую, или презентативную, группу, вызываемую раздражителем извне, и центральную, или репрезентативную, группу, элементы которой лежат в воспоминаниях. Однако если внимательно взглянуть на дело в свете встреченных нами переживаний, окажется, что это деление, как бы ни было оно удобно на поверхностный взгляд, не соответствует никакой коренной двойственности явлений сна. Когда мы пристально расспрашиваем свои сновидческие переживания, перестает быть ясным, что они вообще распадаются на две группы.

С одной стороны, по-видимому, большинство, а быть может, и все сны, достаточно яркие, чтобы ясно запомниться по пробуждении, получили первоначальный толчок от какого-то внешнего или, во всяком случае, периферического источника.[28] В

положении спящего есть что-то непривычное или неудобное, или он подвергся какому-то легкому непривычному напряжению, изменившему состояние его нервов, или он отступил от обычного питания, или в нем дает о себе знать какое-то физиологическое напряжение, — внимательное расспрашивание себя постоянно обнаруживает действительное или вероятное присутствие подобного внешнего или, во всяком случае, периферического раздражителя. Так что мы, по-видимому, вправе сказать, что во всех снах, вероятно, есть презентативный элемент.

[28] Хотя я пришел к этому выводу самостоятельно, в результате разбора сновидческих переживаний, я нахожу, что гораздо раньше его изложил Вундт. «Люди привыкли считать большинство призраков сна галлюцинациями, — пишет он (*Grundzüge der physiologischen Psychologie*, т. III), — но большинство представлений сна, по-видимому, — иллюзии, вызванные слабыми чувственными впечатлениями, которые никогда не угасают во сне». Вейгандт в своей краткой, но превосходной книге *Entstehung der Träume* вполне принимает этот взгляд, хотя, по-моему, не всегда удачно пытается доказать его собственными снами; такое доказательство по необходимости часто трудно или невозможно, потому что, кроме самого сна, мы редко знаем, какие чувственные впечатления сохраняются в нашем сне. К. М. Гисслер (*Die physiologischen Beziehungen der Traumvorgänge*, 1896, с. 2), который тоже исходит из Вундта, также рассматривает сны вообще как более или менее упорядоченное и последовательное оживление душевных следов бодрствующей жизни, обусловленное внутренними или внешними возбуждениями. Тиссье (в *Les Rêves*, 1898), в свою очередь, заявляет, что «сновидений чисто психического происхождения не существует», а Бони (*American Journal of Psychology*, июль — октябрь 1903) также полагает, что всякому сну нужен внутренний или внешний раздражитель от организма.

С другой стороны, еще более беглого изучения нашей жизни сновидений достаточно, чтобы показать, что в каждом сне есть и репрезентативный элемент. Ни один сон нельзя назвать строго и буквально презентативным. Если, когда я, по-видимому, сплю, кто-то говорит со мной и я сознаю, что он здесь и говорит, я не вправе сказать, что мне это «снится». Сознание, воспринимающее

факты так же, как их может воспринимать бодрствующее сознание, не есть сознание сновидящее. Так что в буквальном смысле презентативных снов нет. Происходит вот что: раздражитель, вместо того чтобы прямо предстать сознанию и быть узнанным как то, чем он является для бодрствующего сознания, пробуждает старые воспоминания и идеи, которые сознание во сне принимает как разумное объяснение внешнего или периферического раздражителя. Раздражитель можно в известном смысле назвать причиной сна, но сам сон остается центральным и такой же сложной картиной из умственных образов, как если бы никакого известного периферического раздражителя не было вовсе.

Таким образом, хотя деление сновидений на два класса и отвечает различию, которое можно уловить, различие это все же поверхностное и несущественное. Вероятно, у всех сновидений есть периферический, или презентативный, элемент, и несомненно, что у всех у них есть элемент центральный, или репрезентативный. Это станет яснее, если мы перейдем теперь к тем сновидениям, возбуждающая причина которых заведомо кроется в каком-либо внешнем или внутреннем органическом раздражителе.

Мир, в который мы входим через врата сна, так явно и так сильно ограничен, что мы склонны недооценивать его подлинное богатство и разнообразие. В некоторых отношениях во сне нам даже удается то, что недостижимо наяву. Бывает, что во сне мы рассуждаем лучше, чем наяву, что находим во сне решение трудностей, которые ускользают от нас днем, и вспоминаем то, что наяву забыли. Но и в пределах обычного опыта любопытно заметить, что наши сны содержат те же элементы, что и бодрствующая жизнь. Деятельность чувств, которая волнует нас

днем, так же жива — хотя и в странных превращениях — в мире сновидений. Вероятно, все органы чувств могут служить путями, по которым раздражители достигают спящего сознания, хотя главными каналами к жизни сна служат, несомненно, осязание и слух. Глаза закрыты, и потому, хотя основная часть нашей жизни во сне выражена в зрительных образах, прямые зрительные раздражители могут оказывать лишь очень смутное и неверное влияние. Но ни одно чувство не исключено из деятельности во сне совершенно.[1]

[1] Так, У. С. Монро («Mental Elements of Dreams», *Journal of Philosophy*, 23 ноября 1905) обнаружил, что почти в трехстах сновидениях пятидесяти пяти студенток Учительского колледжа в Уэстфилде (Массачусетс) зрительные образы встречались в шестидесяти семи процентах снов, слуховые — в двадцати шести, осязательные — в восьми, двигательные — в пяти, обонятельные — немногим более чем в одном проценте, а вкусовые — несколько менее чем в одном проценте. В результатах наблюдений, записанных Сарой Уид и Флоренс Халлам (*American Journal of Psychology*, апрель 1896), чувственные образы идут в том же порядке частоты и приблизительно в тех же пропорциях.

Ощущения тепла и холода и ощущения давления, как и их отсутствие при утрате чувствительности, несомненно, играют важную роль в объяснении различных видов сновидений. Они не обязательно рождают сны, которые запоминаются, хотя, возможно, и тогда влияют на течение спящего сознания. Можно надавливать на тело спящего и разминать его все целиком, мягко, но твердо, не прерывая сна. Когда давление становится довольно сильным, спящий может пошевелить каким-нибудь мускулом — губами, быть может, даже рукой, — может дойти до того, что наполовину проснется и повернется всем телом. Все эти движения наводят на мысль, что у них есть спутники и на психической стороне, и все же, окончательно проснувшись, спящий может не

вспомнить ни самого происшествия, ни малейшего следа сновидения.

Однако в известной доле случаев сновидение все-таки возникает. Так, одной даме снится, что она вместе со множеством других людей плывет на корабле, который сильно качает, а проснувшись, она обнаруживает, что ее большая собака забралась на кровать и усердно чешется. Корабль явно был теорией, придуманной спящим сознанием, чтобы объяснить непривычные ощущения движения.

Когда я жил на юге Испании, я однажды проснулся рано утром и услышал жужжание комара. Я снова заснул, и мне приснилось, что огромное насекомое — величиной с омара, но плоское, как таракан, и алого цвета — село мне на руку. У существа было два длинных рога, и из каждого исходили многочисленные очень длинные и тонкие нити, которые глубоко входили мне в руку. Мне пришлось разрезать существо пополам и с большой осторожностью отделить переднюю часть, приставшую к руке, чтобы не оставить в теле обрывков нитей. Животное казалось тем неприятнее, что было бесшумным, а его нападения, как я думал, неощутимыми. Мне чудилось, что на меня нападают одно за другим несколько таких созданий. Проснувшись, я почувствовал раздражение на левом запястье, будто меня укусил комар, хотя комары давно уже перестали меня кусать. Как видно, этот сон необычно близко отвечает представлению о презентативном сновидении: воображение последовало за действительностью, выставив насекомое причиной испытанного ощущения (возможно, потому, что я действительно слышал комара наяву), но все же, как и во всех сновидениях, процесс был преимущественно центральным, и воображение свободно трудилось, создавая существо, способное объяснить те,

несомненно, смутные и нерасчлененные кожные ощущения, что доходили до спящего сознания.[2]

[2] В другом случае ощущение зуда на ладони привело к сну, будто царапается кошка. Гатри упоминает (*Clinical Journal*, 7 июня 1899), что в детстве ему снилось, будто его истязают люди чужого племени, медленно щекоча под мышками, а он не может пошевелиться; по ночам он сильно потел и считает, что вызванная этим щекотка и была источником снов.

Пожалуй, одно из самых обычных кожных ощущений, побуждающих к образованию сна, — холод оттого, что сбилось одеяло. Пояснить этот класс может следующий пример. Мне снилось, что я в гостинице, поднимаюсь по множеству лестничных маршей и наконец вхожу в комнату, где горничная стелет постель; белое постельное белье было разбросано повсюду и казалось мне снегом; затем я ощутил, что мне очень холодно, и мне показалось, что меня и вправду окружает снег, потому что горничная заметила, какой я смелый, что поднялся так высоко: очень немногие отваживаются на это из-за сильного холода на такой высоте. Я проснулся и обнаружил, что ночь холодная, а я запутался в простынях и наполовину раскрылся. Больше ничего не случилось такого, что подсказало бы этот сон, который спящее сознание выстроило из двух связанных представлений — высоты и снега, — чтобы объяснить действительно испытанные ощущения. Примечательно, что, как и в только что рассказанном сне, здесь тоже была связь с действительностью, на этот раз — сбитое постельное белье.[3]

[3] Соответствующее ощущение тепла тоже, разумеется, может испытываться во сне, все равно, идет ли раздражение от мозга или от кожи. Так, мне снилось, что, не зная, горячая вода или холодная, я опустил в нее палец и ощутил, что она явно горячая.

Слуховые переживания сновидений, пожалуй, в большей мере, чем осязательные, могут основываться на самопроизвольных

нарушениях внутри самого чувствующего аппарата. Особенно это верно для зрительных переживаний, и условия в ухе во многом сходны с ними. Помимо повышенного резонанса уха или гиперестезии слухового нерва, создающих особую чувствительность к звукам, усиленный приток крови к уху, а также мышечные сокращения и серные пробки в наружном ухе доставляют те слабые зачаточные шумы, которые во сне могут стать ядром, вокруг которого кристаллизуются галлюцинации. Болезнь уха, очевидно, может действовать так же, но и помимо настоящей болезни различные нервные расстройства способствуют появлению слуховых галлюцинаций во сне, а в выраженных случаях — даже наяву.

Нам может сниться, что мы слушаем музыку, хотя вокруг нет никаких внешних звуков, хоть сколько-нибудь похожих на музыку. В таких случаях действительные условия внутри слухового аппарата, без сомнения, подсказывают мозгу музыку, но получающаяся музыка обычно бывает менее определенной и хуже запоминается, чем когда она складывается вокруг ядра из внешнего ряда звуков. Во многих таких случаях мы, вероятно, вовсе не слышим музыку во сне — мы просто находимся в таких условиях, при которых нам кажется, что мы ее слышим. Так, однажды, когда я лег спать вскоре после ужина, хотя и не страдал заметным несварением, мне снилось, что я присутствую на публичном собрании, соединенном с оркестровым концертом. Речь должен был держать человек, похожий на старого моряка или солдата, а тем временем играл оркестр. Оратор — как я понял, не привыкший к порядкам подобных собраний — вдруг прервал оркестр каким-то замечанием, и удивленный дирижер на миг остановил исполнение, а потом продолжил; последующие замечания оратора уже не действовали на музыку, которая

звучала до конца, становясь все живее и энергичнее. Но что это была за музыка, я тогда не знал и, проснувшись, не смог припомнить из нее ни одного отрывка. Возможно даже, что такой сон по преимуществу зрительный и никакой галлюцинаторной музыки в нем не слышно, а то, что она звучит, лишь выводится из характера видения.

Если сны, вызванные звуками внутри уха, у здоровых людей в обычных обстоятельствах, как правило, трудно проследить, то совсем иначе обстоит дело со снами, которые подсказаны звуками, достигающими уха извне. Они составляют одну из самых интересных групп сновидений, а вместе с тем одну из самых легко объяснимых, и встречаются очень часто.[4] Их механизм при некоторых обстоятельствах можно наблюдать даже в бодрствующем состоянии. У некоторых людей музыка, голос, пение птицы, даже слово, замечание пробуждают призраки цвета и формы, света и тени, цветные облака, потоки, волны и т. п. Особенно богаты эти явления, когда их вызывает оркестр. Такие «музыкальные призраки», как их называют, — особое, более свободное развитие узких и жестких явлений «цветного слуха». Их изучал доктор Рутс.[5] Нужно помнить, что в основе музыки лежит движение. Как замечает Дориак, музыку можно определить как «движение, облеченное в звук».[6] Она стремится вызвать движение, а если не движение, то двигательные образы.[7]

[4] Легкость, с какой можно применять музыкальные звуки во время сна, и благотворное их действие на эмоциональный тон навели на мысль о лечебном их использовании. Первопроходцем в этой области считается Леонард Корнинг («The Use of Musical Vibrations before and during Sleep», *Medical Record*, 21 января 1899).

[5] Ch. Ruths, *Experimental-Untersuchungen über Musikphantome*, 1898.

[6] Дориак, «Des Images suggérées par l'audition musicale», *Revue Philosophique*, ноябрь 1902.

[7] Де Роша описал и воспроизвел жесты и танцы своей загипнотизированной испытуемой Лины под действием музыки. Рибо (*L'Imagination créatrice*, с. 177 и сл., 291 и сл.) рассмотрел образы, внушаемые музыкой, и указывает, что ярче всего они выражены у людей немузыкальных. Усталость и перевозбуждение — условия, предрасполагающие к появлению таких образов, как показывает на собственном опыте Макдугалл (*Psychological Review*, сентябрь 1898).

Сны, вызванные определенными внешними слуховыми раздражителями, могут быть различного характера. Нередкий их источник — особенно для тех, кто живет на продуваемом ветрами побережье, — бури. Одной даме, например, снится, что ее собачка упала с высокой скалы и она слышит ее визг; была очень ветреная ночь, и окно у нее было открыто. Этот сон несколько напоминает тот, о котором рассказал Бурдах: он видел его вместе со спутником в гостинице во время бури — обоим снилось, что они бродят ночью среди высоких обрывов.

Однажды я проснулся посреди ветреной ночи с ощущением, что слушал оперу Глюка (которой на самом деле никогда не слышал), и испытывал все то чувство упоительных волн мелодии, какое и вправду испытываешь, слушая такие оперы, как «Альцеста». Обрывок мелодии, услышанной во сне, еще держался в памяти после пробуждения, так что я мог мысленно повторить его, и он казался столь же приятным, как во сне, хотя и незнакомым.

Сходное происхождение было и у следующего сна. Мне представилось, что я присутствую на зрелище несколько сомнительного эротического свойства вместе с другими людьми, которые из скромности закрывали лица руками — пристойным жестом, напоминавшим (что, очевидно, понимало и сознание во сне) жест молящихся в церкви. Тут в глубине зазвучал

прекрасный голос, громко распевавший стих из Te Deum. Это меня разбудило, и в полусне мне казалось, что голос, слышанный во сне, был настоящим. Однако никакого настоящего голоса не было — только громкий вой ветра и стук дождя по оконным стеклам.

Однажды, очень ветреной ночью, когда я, возможно, был слегка нездоров — наутро чувствовалась легкая боль в грудных мышцах, — мне снилось, что я спокойно сижу дома с друзьями, как вдруг небо озарилось. Мы поняли, что причина тому — ровная, непрерывная молния; так продолжалось весь сон, и небо выглядело как треснувший и раздавленный пласт тающего льда.[8] Вскоре по воздуху понеслись обломки зданий и тому подобный мусор, и я заметил женщину, которую несло надо мной, подхватив за юбки. Тогда мы поняли, что надвигается страшный циклон, который в любую минуту может унести и дом, и нас самих. Больше я ничего не помнил.

[8] Есть соблазн думать, что эта молния могла быть символическим превращением стреляющих невралгических болей, преувеличенных, как это свойственно ощущениям во сне.

Можно упомянуть еще один сон, тоже прямо вызванный сильной бурей и дребезжанием окна возле моей кровати. Этот последний звук, очевидно, напомнил спящему сознанию дребезжание окна в железнодорожном вагоне, и мне приснилось, что я еду в Берлин с приятелем-врачом. Были тут и знакомые по снам подробности: беготня по бесконечным платформам, вверх и вниз по нескончаемым лестницам, я оказываюсь в вагоне не того класса, отчего снова блуждаю по коридорам, и в конце концов обнаруживаю, что приятель отстал. На характер сна могло повлиять легкое несварение. В этом сне, в отличие от уже описанных снов от внешних раздражителей, элементы были не

чистым вымыслом грезящего воображения, а целиком сложены из представлений, ставших привычными в последнее время.

Следующий сон был вызван слуховым раздражителем иного рода. Мне снилось, что я слушаю исполнение «Сотворения мира» Гайдна, причем оркестровая часть, казалось, состояла главным образом из весьма правдоподобного изображения птичьего пения, хотя голоса какой-то определенной птицы я распознать не мог. Затем последовали сольные партии мужских голосов; певцов я видел, в особенности одного, который привлек мое внимание тем, что под конец пел едва слышным голосом. Проснувшись, я не сразу понял, откуда взялся сон, но вскоре сообразил, что это пела канарейка в соседней комнате. «Сотворение мира» Гайдна я никогда не слышал, кроме отрывков, и в последнее время о нем не думал; его слава правдоподобного изображения природных звуков, очевидно, побудила спящее сознание выдвинуть его как вероятное объяснение слышимых звуков, а зрительные центры приняли эту теорию.

Какими бы надуманными и невероятными ни казались наши сны бодрствующему уму, с точки зрения спящего ума они — серьезные и тщательные попытки построить удовлетворительную теорию явлений. Образы ищутся издалека лишь затем, чтобы точнее подойти к фактам. Так, одной даме приснилось, что ее собаку расплющивает большой старинный ящичный каток для белья. Проснувшись, она обнаружила, что вода из лопнувшей трубы льется с потолка на пол лестничной площадки за ее дверью, рядом с тем местом, где спала собака. Такого катка она не видела с детства и не имела никакого повода о нем думать, но его ритм и звук чем-то напоминали шум падающей воды.

Можно привести еще один пример слухового сна. Мне снилось, что я снова в школьном классе моего детства с двумя-тремя нынешними учителями. Комната совершенно переменилась, в ней было много нового школьного оборудования, и прежде всего на столе стояло несколько миниатюрных машин разного устройства, которые и вправду работали. Я сказал учителям, что жалею, что всего этого не было здесь двадцать лет назад (срок, значительно меньший того, что на деле прошел с тех пор, как я покинул этот класс), — я мог бы тогда этим воспользоваться. «Вся жизнь состоит из механизмов, — услышал я, просыпаясь, собственный голос, — и кто не понимает механизмов, тот не поймет и жизни». Лишь через несколько мгновений я заметил слабое жужжание, которое озадачивало меня, пока я не понял, что это звук далеких машин, доносящийся в открытое окно. Он, несомненно, и подсказал машины из сна, хотя во сне я не сознавал, что слышу какие-либо звуки, а малый размер машин во сне отвечал слабости действительных звуков.

Сны, вызванные запахами, по-видимому, обычно не возникают иначе, как при опытном поднесении пахучих веществ к ноздрям спящего, да и опыты такого рода обычно не удаются.[9] Иногда, впрочем, сны о запахах приходят без всякого прослеживаемого чувственного источника; Грейс Эндрюс, например, записала сон о море, сопровождавшийся запахом морского берега, — «чистое и богатое обонятельное ощущение». У меня самого обонятельные сны бывали редко и были незначительны.

[9] В некоторых опытах проф. У. С. Монро над двадцатью студентками Учительской школы в Уэстфилде им десять вечеров подряд перед сном клали на язык раздавленный бутон пряной гвоздики. Из 254 снов, о которых затем сообщили, семнадцать были вкусовыми и восемь обонятельными, и в трех из них действительно фигурировала гвоздика. Гвоздика влияла и на сны других классов: так, от жжения во рту одной из спящих представилось, что горит дом (У.

С. Монро, «A Study of Taste Dreams», *American Journal of Psychology*, январь 1899). Менье, правда, установил, что обонятельные раздражители особенно легко применять во время сна, улучшая тем самым эмоциональный тон (Р. Менье, «À propos d'onirothérapie», *Archives de Neurologie*, март 1910). Менье обнаружил, что у него самого тубероза всегда вызывала приятные сны, полные подробностей, хотя у другого испытуемого сны от нее всегда были неприятными. У истеричных испытуемых эссенция герани вызывала разнообразные приятные сны, за которыми весь следующий день держался приятный эмоциональный тон.

Вкус, как мы его обычно понимаем, на деле включает, как известно, элемент запаха, и вкусовые сны такого рода, по-видимому, время от времени возникают под влиянием любого легкого раздражения слизистой оболочки рта или легкого несварения. Возможно, последнее присутствовало в следующем сне. Мне представилось, что, следуя примеру приятеля, я дал несколько сигарет бродяге, которого мы случайно встретили, и что в ответ мы сочли себя обязанными выпить неразбавленного джина, который он носил с собой. Я выпил с некоторым опасением насчет того, чем может кончиться питье из фляжки бродяги, и хотя в действительной жизни я не пробовал джина много лет, горячий, жгучий вкус спиртного был очень отчетлив. Проснувшись, я почувствовал, что губы у меня горячие и сухие, и именно это ощущение в губах, несомненно, заставило сознание во сне искать правдоподобное объяснение в сигаретах и спиртном. Хотя спиртное, казалось, имело особый вкус джина, в ощущениях сна всегда трудно, если не невозможно, отличить то, что чувствуешь, от того, что лишь заключаешь, будто чувствуешь. Иначе говоря, в подобном случае остается сомнительным, вызывает ли ощущение в губах особую галлюцинацию джина или лишь внушает спящему сознанию, что джин был отведан, — примерно так же, как загипнотизированному можно внушить, что вещество, которое он пробует, — совсем другое вещество, что соль — это сахар или вода — вино.

Как и в снах о запахах, не всегда удается обнаружить внешнее раздражение, вызвавшее вкусовой или мнимовкусовой сон.[10] Это можно пояснить сном, который, строго говоря, относится к осязательному классу. Мне приснилось, что я зашел к знакомому врачу и застал его помощника в темной приемной. Я рассеянно взял разбитый пузырек из-под лекарства и поднес ко рту, и тут вошел мой знакомый. Я заговорил с ним о каком-то медицинском предмете, но он сел в экипаж и уехал, не успев мне ответить. Тут я обнаружил, что рот у меня полон осколков разбитого бесцветного стекла, и я тщательно их вынул. Этот сон был построен, как уже не раз показано выше, из мелких отдельных случаев, происшедших в непосредственно предшествовавшие дни. Одним из них было то, что я сам разбил кусочек цветного (не бесцветного) стекла и аккуратно подобрал осколки. Но ярче всего во сне было ощущение битого стекла во рту, а проснувшись, я не мог обнаружить во рту никакого ощущения. Так что, хотя самым правдоподобным объяснением подобного сна была бы теория, будто недавний случай с битым стеклом подсказал спящему сознанию объяснение неприятного ощущения, действительно испытанного во рту, ничто решительно эту теорию не подтверждало.

[10] Титченер («Taste Dreams», *American Journal of Psychology*, январь 1895) записывает вкусовые сны, вызванные самовнушением, а Рибо (*Psychology of the Emotions*, с. 142) полагает, что не может быть сомнений: сны и о вкусе, и о запахе могут возникать без внешнего источника.

Установлено, что свет, падающий на закрытые глаза, или полуоткрытые глаза служат зрительным раздражителем для сновидений, но у меня самого нет решающих свидетельств на этот счет.[11] Одной даме приснилось, что у нее в комнате возлюбленный, и вдруг дверь отворилась, и она увидела перед собой мать с ярким светом, отчего и проснулась, — но не нашла в

комнате ничего, никакого света, что объяснило бы сон. Разумеется, вовсе не обязательно, чтобы сон о ярком свете вызывался внешним зрительным раздражителем, сопутствующим сну, ибо самопроизвольная деятельность сетчатки и мозга сама порождает ощущения света. Так, в ночь после приятной прогулки по сельской дороге, освещенной заходящим солнцем, мне приснилось, что я иду по дороге и вижу впереди яркий свет и свою огромную тень. По-видимому, в целом завеса век надежно преграждает глазу доступ света во время сна, и то чувство, которое днем деятельнее всех прочих, ночью охраняется тщательнее всех. Особо тонкая и неустойчивая природа химической основы зрения возмещает эту защиту от внешних раздражений и своей самопроизвольной деятельностью обеспечивает то, что и во сне зрение остается господствующим чувством.

[11] Хаммонд (*Treatise on Insanity*, с. 229) знал одного джентльмена, которому приснилось, что он на небесах и его окружает ослепительное сияние; проснувшись, он увидел, что тлевший в камине огонь разгорелся. Вейгандту снилось, что он смотрит на «живые картины», освещенные магниевым светом, а проснувшись, он обнаружил, что утреннее солнце только что вышло из-за облаков и залило комнату светом. См. также Пэриш, *Hallucinations and Illusions*, с. 52.

То, что мы находим относительно роли во сне возбуждений, идущих от внешних органов чувств, справедливо и для возбуждений, идущих от внутренних органических ощущений. Главное отличие в том, что раздражители, достигающие спящего сознания от органов внутри тела — желудка, сердца, легких, половой системы, мочевого пузыря и т. д., — обычно бывают более смутными и нерасчлененными, их труднее распознать и определить, чем более определенные чувственные раздражители, приходящие к нам извне. Эти висцеральные возбуждения могут

превращаться в мозгу в образы, настолько непохожие на них самих, что мы можем отказаться их признать, и нередко неизбежно испытываем некоторое колебание. Свидетельства этого встретятся нам в свое время ниже. Здесь я хочу лишь указать на более очевидную роль, которую играют в сновидениях ощущения, возникающие внутри тела.

Следовало бы ожидать, что яснее и прямее всего в сознание спящего будут переводиться не те висцеральные процессы, что идут правильно и непрерывно, а те, что заявляют о себе, более или менее властно, время от времени. Так оно и есть. Сердце, например, вероятно, играет роль в сновидениях только тогда, когда его работа нарушена, да и тогда почти всегда в сильно преображенном виде. С другой стороны, когда побуждения половой системы пробуждаются во сне и проявляются в эротических сновидениях, возникающие образы обычно очень ясны и связаны с вполне определенными, узнаваемыми половыми ассоциациями. Эротические сны и у мужчин, и у женщин — среди самых ярких из всех снов и самых сильных по чувству.[12]

[12] Я рассмотрел эротические сновидения в очерке «Автоэротизм» в первом томе моих *Studies in the Psychology of Sex* (третье издание, исправленное и дополненное, 1910).

Мочевой пузырь — тоже внутренний орган, дающий знать о своих потребностях лишь время от времени, и потому, когда такие потребности возникают во сне, они осознаются в образах, легко напоминающих об источнике раздражения. Можно даже сказать, что сны, вызванные мочевым пузырем, — пузырные сны — очень поучительны тем светом, который они бросают на психологию сновидения. Это давно хорошо известно писавшим о снах. Так, Шернер много лет назад настаивал на том, как интересны и важны пузырные сны. У женщин он считал их особенно частыми и

развитыми: по его мнению, большинство рассказов женщин о снах содержат символические изображения этого органического раздражения. Самый обычный символ, естественно, — вода в том или ином виде. По мнению Шернера, все сны о рыбах, играющих в воде, — тоже пузырные сны.[13]

[13] К. А. Шернер, *Das Leben des Traums*, 1861, с. 187 и сл. Фолькельт несколькими годами позже (*Die Traum-Phantasie*, 1875, с. 74) указал на появление в жизни сновидений несколько сходной пузырной символики (в том числе у женщин — наполненной сумки для вязания), хотя самым обычным признаком таких снов считал видения воды. Пузырные сны, разумеется, могут содержать и другие элементы; см., например, случай, приведенный К. Юнгом («L'Analyse des rêves», *L'Année Psychologique*, 15-й год, 1909, с. 165).

В простейшем виде пузырный сон — это то, что Фрейд назвал бы сном-желанием детского типа, часто в увеличенном виде, обычном для снов, а иногда перенесенный со спящего на другое лицо или даже на неодушевленный предмет.[14] Однако есть очень важная разница в зависимости от того, снятся ли такие сны взрослому или маленькому ребенку. У взрослого почти неизменно бывает так, что действие во сне так и остается действием во сне и соответствующий двигательный импульс к пузырю не передается. Но когда такие сны снятся совсем маленьким детям, в мозгу которых двигательный тормозящий механизм еще не вполне сложился, нередко бывает, что двигательный импульс передается и изгоняющее действие пузыря возникает в согласии с образами сна; так устанавливается состояние, известное как ночное недержание мочи. По мере развития молодого мозга и совершенствования торможения пузырные сны перестают как-либо действовать на пузырь, даже если, как порой случается, они время от времени продолжают сниться и во взрослой жизни.[15] Иногда — как у тех, кто страдал в детстве ночным недержанием, так и у тех, кто им не страдал (особенно у женщин), — пузырные

сны такого рода могут сниться даже без всякого действительного растяжения пузыря. В некоторых из этих случаев можно показать, что сон вызван воспоминанием или внушением из бодрствующей жизни предыдущего дня. Таким образом, сны, вызванные органическими ощущениями изнутри, оказываются сходны со снами от чувственных ощущений извне в том, что и те и другие в точности воспроизводятся снами преимущественно центрального происхождения.

---

[14] Типичный сон этого рода, настолько значительный, что вошел в историю, приснился несколько тысяч лет назад Астиагу, царю мидян, и записан Геродотом (книга I, гл. 107).

---

[15] В очерке об автоэротизме, упомянутом в одном из предыдущих примечаний, я привел сны, поясняющие некоторые положения текста, а также рассмотрел сходства и различия между пузырными и эротическими сновидениями. Тот факт, что ночное недержание мочи связано с пузырными снами, хотя о нем упоминал еще Бьюкен в своей *Venus sine Concubitu* более века назад, до сих пор мало известен, а между тем это, очевидно, факт клинической важности.

Когда мы обращаемся к тем внутренним органам тела, которые в норме выполняют свои отправления постоянно и равномерно, редко или вовсе никогда не вторгаясь в область сознания, всякое нарушение их работы, по-видимому, гораздо реже переводится в сознание спящего в простом и прямом виде. Достаточно взять пример сердца. Когда сердце работает нормально, его работа так же редко осознается во сне, как и наяву. Даже когда деятельность сердца нарушена — болезнью или временным возбуждением, — сознание во сне редко постигает физическую причину нарушения. Изредка, правда, сердечное расстройство может достичь спящего сознания без очень далекого преображения: так, одной даме снится, что она падает в обморок, тогда как в действительности она дышит слегка затрудненно и прерывисто; но в другое время та же дама, страдая некоторой слабостью сердца, однажды ночью,

когда недуг был особенно выражен, увидела во сне, что гонит взмыленных лошадей вверх по крутому холму, подхлестывая их кнутом, чтобы уйти от скорого поезда, который, как ей представлялось, шел позади. Этот сон о взмыленных, запыхавшихся лошадях, взбирающихся в гору, различные наблюдатели отмечали в связи с болезнями сердца.[16] Подлинное затруднение задыхающегося, изо всех сил бьющегося сердца инстинктивно находит себе видимое объяснение в знакомой картине повседневной жизни.

[16] Таков, например, больной астмой у Макса Симона (*Le Monde des Rêves*, с. 40), которому во время приступа снились взмыленные лошади, пытающиеся втащить в гору тяжелый воз.

В другом случае спящая проснулась после беспокойного сна, связанного с несварением, с впечатлением, что по лестнице топают взломщики, но тотчас поняла, что топот их ног был на самом деле биением ее собственного сердца. Сходным образом, страдая головной болью, я видел во сне, что забиваю гвозди в пол, — теория, очевидно придуманная, чтобы объяснить удары пульсирующих артерий.

Любопытную группу явлений, связанных с обсуждаемыми в этой главе чувственными влияниями, составляют предчувствия телесных расстройств и болезней, которые порой переживаются во сне. Телесное нарушение может достичь спящего сознания за много часов или даже дней до того, как его заметит сознание бодрствующее, и перевестись в более или менее причудливый сон. Это признавали с давних пор; Аристотель, например, замечал, что сновидения преувеличивают чувственные возбуждения, и указывал, что поэтому они полезны врачу, помогая распознать признаки, еще не ощутимые наяву. Так, Хаммонд знал джентльмена, которому перед приступом гемиплегического

паралича не раз снилось, что его разрезали надвое по средней линии и он может двигаться только одной стороной, а одна молодая особа, увидевшая во сне, что проглотила расплавленный свинец, проснулась вполне здоровой, но к полудню слегла с тяжелой ангиной. Эритематозные состояния кожи, как указывал мне доктор Кирнан, встречавший множество подобных случаев, играют особую роль в порождении таких снов. Джуэлл, в свою очередь, упоминает девушку, которой за три дня до того, как слечь с брюшным тифом, приснилось, что кто-то облил ее маслом и поджег. Макарио, пожалуй, первым записавший и научно изучивший сны этого класса, назвал их продромальными, то есть предвестниками.[17]

[17] Случаи записывал и Форбс Уинслоу (*Obscure Diseases*, с. 611 и сл.), а множество примеров собрал Хаммонд (*Treatise on Insanity*, с. 234 и сл.). Вашид и Пьерон обсуждают этот вопрос и приводят тринадцать случаев (*La Psychologie du Rêve*, с. 34 и сл.). Фере записал два случая, когда сны были предвестниками приступов мигрени (*Revue de Médecine*, 10 февраля 1903). Различные случаи, главным образом из литературы предмета, собрали Поль Менье и Масселон (*Les Rêves et leur interprétation*, 1910).

«Пророческие» сны, в которых спящий предвидит не телесное состояние, уже скрыто существующее, а внешнее событие, принадлежат к совершенно иному классу, и здесь нет нужды разбирать их подробно, так как обычно им находится иное объяснение. Довольно распространенный опыт такого рода — сон о незнакомом человеке, которого затем встречаешь наяву. Такие сны делятся на две группы: в первой «пророчество» основано на изъяне памяти — спящий на самом деле уже видел этого человека прежде; во второй последующее «узнавание» человека вызвано тем, что сон заранее настроил чувства, и сосредоточенным ожиданием. Санте де Санктис, указывающий на это, приводит случай с выдающимся романистом Капуаной, которому ярко

приснилась темноволосая дама с выразительными глазами, а через три дня он встретил даму своего сна на улице.[18] Женщины в состоянии напряженного ожидания нередко принимали умерших (а то и живых) людей за пропавших мужей или детей, и всякий, кто видел, как известного преступника, скрывающегося от правосудия, вскоре «узнают» по портрету в самых разных частях света, без труда поверит, что вполне возможно «узнать» людей по портретам из сновидений, которые гораздо смутнее фотографий. Что есть и другие пророческие сны, которые объяснить не так легко, я готов признать, хотя под мое непосредственное наблюдение они и не попадали.

[18] Санте де Санктис, *I Sogni*, с. 380.

ГЛАВА V. ЭМОЦИИ В СНОВИДЕНИЯХ

✦

Эмоция и воображение — Как раздражители превращаются в эмоцию — Сомнамбулизм — Неудача движения во сне — Кошмар — Влияние близкого пробуждения на воображаемые движения во сне — Увеличение образов — Периферические и мозговые условия сообща производят это усиление воображения — Эмоция во сне тоже усилена — Сны, складывающиеся для объяснения усиленных эмоций неизвестного происхождения — Основополагающее место эмоции в сновидениях — Расстройства внутренних органов, особенно желудка, как источник эмоции — Символизм в сновидениях — Нравственное отношение спящего — Почему во снах так часто совершаются убийства — Нравственное чувство во сне не исчезает, хотя порой ослаблено

Возникают ли влияния, которые возбуждают наши сны, вне организма или внутри него, они всегда процеживаются и рассеиваются по затемненным каналам восприятия. Наконец они достигают мозга в смутной и нерасчлененной форме, которая может выдать или не выдать при разборе наяву свой источник, но непременно так изменится в этих органических каналах, что преобладающим в ней станет аффективный тон. Иначе говоря, они в значительной мере превращаются в *эмоцию*. А превратившись так, они становятся истоком того, что мы считаем элементом воображения в сновидениях.[19]

[19] Зависимость воображения во сне от эмоции органического происхождения давно ясно увидел и изложил проницательный психолог-самонаблюдатель Мен де Биран (*Œuvres inédites*, «Fondements de la Psychologie», с. 102).

Сон особенно благоприятствует возникновению эмоций потому, что, допуская значительную деятельность чувств и очень широкую свободу образов, основанных на этой деятельности, он в большой мере и во многих направлениях тормозит деятельность двигательную. Поэтому действия, подсказанные чувственным возбуждением, не могут быть выполнены. Едва импульс вступает в двигательные каналы, он встречает препятствие, дробится и рассеивается в тщетной борьбе. Этот процесс передается мозгу как волна эмоции.

Иногда, правда, как мы знаем, двигательные координации, обычно заторможенные во сне, оказываются не заторможены. Спящий способен выполнить, совершенно или несовершенно, какое-то действие, которое он в действительности или в воображении желает выполнить. Тогда говорят, что он находится в состоянии сомнамбулизма. Сомнамбула в широком смысле слова — не обязательно человек, который ходит во сне, а всякий, у кого группа согласованно действующих мышц достаточно бодрствует, чтобы более или менее соответственно откликаться на двигательный импульс спящего мозга. Разговор во сне — одна из форм сомнамбулизма. Когда двигательные каналы так свободны, по пробуждении обычно не остается воспоминания о сне. Импульсы, достигающие сознания, могут быть, так сказать, быстро и легко отведены на поверхность нервной системы и обычно не оставляют в сознании глубокого отпечатка.

«Вчера я работала допоздна, — пишет одна дама, писательница, — легла и провалилась в какой-то мертвый сон. Когда я проснулась сегодня утром около семи, оказалось, что случилась забавная вещь. В комнате у меня горели две свечи. Ложась, я оставила гореть только одну и знаю, что погасила ее. А теперь две горели рядом, будто я писала, и, судя по всему, горели

они всего час или около того. Должно быть, я встала и зажгла их во сне».[20] Действия, совершаемые в сомнамбулическом состоянии, обычно не согласованы с действием высших чувств: так, одна молодая женщина, побуждаемая переполненным мочевым пузырем, еще во сне встала с постели и принялась исполнять подсказанное действие, но без дальнейших предосторожностей, прямо на пол; разбудило ее лишь восклицание сестры, проснувшейся от звука. Мы как будто видим, что под сильным раздражителем — незаконченной работой в одном случае, напряжением пузыря в другом — двигательные центры пробудились к деятельности ранним утром, тогда как высшие центры еще крепко спали. Если бы вторую спящую не разбудили, ни в том ни в другом случае не осталось бы никакого воспоминания о происшедшем.[21] Борьбы не было, а потому не возникло и эмоций, которые запечатлелись бы в сознании. Очевидно, что несогласованность чувственной и двигательной деятельности — важный фактор сновидений, сообщающий им эмоциональный характер.

[20] Джастроу (*The Subconscious*, с. 206) рассказывает о сходном случае, наблюдавшемся у одной студентки.

[21] Герберт Райт, который нашел, что у детей ночные страхи нередко связаны с сомнамбулизмом, указывает, что, когда сомнамбулизм заменяет ночные страхи, он не оставляет по себе воспоминания (*British Medical Journal*, 19 августа 1899, с. 465). Интересное исследование движений в нормальном и болезненном сне опубликовал Сегре («Contributo alla conoscenza dei movimenti del sonno», *Archivio di Psichiatria*, 1907, вып. 1).

В сомнамбулизме мы имеем состояние, в некоторых отношениях обратное обычному при сновидениях. Высшие центры здесь, правда, отделены от низших, но спят первые, а бодрствуют вторые, тогда как в обычном сновидении высшие центры действуют сообразно своим средствам, а низшие пребывают в

покое. Сомнамбулизм приближается к состоянию, встречающемуся при некоторых болезнях мозга, когда в результате поражения высших нервных уровней возникает такое психическое состояние — идеаторная апраксия Липмана, — при котором мышечная система выполняет замыслы, но замыслы эти ущербны, поскольку не находятся под надзором высших центров. В обычных же снах мы имеем состояние, сравнимое с тем, что вызывают поражения мозга при двигательной апраксии, как называет ее Пик, когда высшие центры действуют свободно, но их замыслы так и не претворяются в действие из-за несостоятельности двигательных центров.

Эта особенность сновидения казалась некоторым авторам загадочной. Они спрашивают, почему во сне мы порой так остро ощущаем неспособность двигаться и почему, стараясь во сне пошевелиться, мы не всегда действительно двигаемся.[22]

[22] Этот вопрос задает, например, Ф. Г. Брэдли («On the Failure of Movement in Dreams», *Mind*, 1894, с. 373). Он предпочитает объяснение, что видение во сне не соотнесено с очень смутно осознаваемым действительным положением тела, так что недостает сведений, необходимых, чтобы завершить представление о движении. Лишь в случае менее сложных движений губ, языка или пальца, когда двигательное представление согласуется с действительным положением тела, движение происходит. Мы не можем отличить реальный мир от мира нашего видения; «поэтому наши образы естественно стремятся осуществиться в мире наших реальных членов. Но мир и его устройство в этот миг не связаны с нашими представлениями, и потому попытка движения по большей части неизбежно терпит неудачу». Совершенно верно, что этот конфликт — важный фактор сновидения, но к большому числу движений, которые, как нам снится, мы действительно совершаем, он неприложим.

Мне кажется, особой трудности тут почти нет; и все же вопрос этот весьма интересен и важен. Прежде всего необходимо указать, что, как бы полно ни отсутствовало действительное движение, в видении сна неудачи движения обычно не бывает. Нам снится, что мы говорим, переходим с места на место, совершаем разные

действия. Мы не ощущаем никакой трудности, а иногда даже особую легкость в выполнении этих движений. И у здоровых людей в обычных условиях движения во сне происходят, по-видимому, без малейшего зачатка соответствующего действительного движения, заметного наблюдателю. Центробежные двигательные каналы, а в значительной мере и центростремительные чувствительные, спят, и весь круг представления замыкается внутри мозга — или, как мы говорим, в воображении.[23] Так, одному моему знакомому средних лет, привычки которого отнюдь не спортивны, снится, что, желая привлечь чье-то внимание, он опирается одним коленом о маленький рабочий столик жены и, держа рукой ступню другой ноги, быстро и легко вертится кругом на оси колена, упертого в стол, причем сон продолжается дальше без всякого пробуждения. А одной даме, которая наяву не умеет плавать и не знает, с чего бы ей думать о плавании, ярко снится, что она прыгает с плавучего дома в реку и легко плывет на боку; этот сон тоже продолжается без пробуждения. Эти спящие могли с торжеством выполнить задуманные мышечные подвиги потому, что на самом деле вовсе не пытались их выполнить, и, кроме того, в мозг не поступало достаточно чувственных сообщений, чтобы известить его, что члены на деле не повинуются его приказам. Спящие, вероятно, находились в довольно глубоком сне.[24]

[23] Действие некоторых снадобий создает состояние, в этом отношении похожее на то, что царит в сновидениях. «Под влиянием большой дозы гашиша, — замечает профессор Стаут (*Analytic Psychology*, т. I, с. 14), — я оказался совершенно неспособен отличить то, что действительно делал и видел, от того, о чем лишь думал». Не только двигательная и чувственная деятельность относительно дремлют, но и центральная деятельность вполне способна обходиться без их услуг и довольствуется этим. «Мысль, — как говорит Джастроу (*Fact and Fable in Psychology*, с. 386), — есть лишь более или менее успешно подавленное действие».

[24] Таков, мне кажется, ответ на вопрос, заданный Фрейдом (*Die Traumdeutung*, с. 227): почему нам не всегда снится заторможенное движение? Фрейд считает, что представление о заторможенном движении, когда оно появляется во сне, не имеет отношения к действительному состоянию нервной системы спящего, а есть просто идеаторный символ эротического желания, которое уже не может быть исполнено. Но несомненно, что сон не всегда одинаковой глубины и что различные нервные группы спят не всегда одинаково. Сновидение, возникающее на почве частичного и неполного сна, едва ли может не привести к попытке действительного движения и к более или менее полному торможению этого движения, то есть к борьбе, которая часто видна наблюдателю и не является чисто идеаторной.

Сны, в которых нам кажется, что мы страдаем от трудности или невозможности движения, составляют, таким образом, особый класс. Джуэлл хотел бы применить к ним название «кошмар», который, по его мнению, «характеризуется неспособностью двигаться или говорить». Когда во сне мы ощущаем затрудненность движения, часто, а может быть, и обычно, оказывается, что двигательные каналы закрыты не вполне, а чувствительные открыты необычно широко, и очень часто, хотя и не обязательно, это связано с приближением пробуждения. Мне снилось, что я гуляю с приятелем, что мы поссорились и я после этого перешел через дорогу и пошел впереди него. Эти действия казались совершенно не требующими усилий. Постепенно, однако, я стал ощущать громадное и тщетное усилие, чтобы держаться впереди, и, просыпаясь, медленно начал испытывать чувство усталости в своих действительных, неподвижных ногах. В процессе пробуждения, полагаю, усилившийся, но все еще недостаточный приток ощущений от ног, несущий весть об их действительном положении, вступил в конфликт с образами сна и породил борьбу в сознании. Вовсе не обязательно предполагать, что в начале сна чувственные впечатления от ног отсутствовали полностью; напротив, вероятно, именно чувство усталости и было

причиной сна, а представление о ходьбе — теорией, объясняющей эту усталость; это кажется вероятнее, чем то, что действительная усталость была вызвана умственным напряжением во сне.

Один мой приятель рассказывает, что ему часто снится и всегда бывает мучителен такой сон: он взбирается на гору и наконец достигает места, где, несмотря на все усилия, дальше продвинуться невозможно. Вероятно, этот сон тоже пример конфликта, вызванного процессом пробуждения. В этом случае, однако, решение осложняется тем, что в молодости спящий однажды действительно оказался в положении, которое теперь переживает лишь во сне.

Иногда удается доказать свидетельством очевидца, что в снах о движениях, выполняемых с трудом, мы на самом деле достаточно бодрствуем с двигательной стороны, чтобы совершать действительные движения, хотя эти движения могут лишь очень приблизительно соответствовать тем, которые мы, как нам кажется, пытаемся совершить. Очень часто, без сомнения, сны о затрудненном движении сосуществуют с некоторой долей действительного движения или вызываются ею. В некоторых таких случаях, правда, слабое и несовершенное действительное движение может в сознании спящего быть полным и достаточным движением. Несовершенные чувственные сообщения в этих случаях, по-видимому, недостаточно точны, чтобы открыть спящему сознанию несовершенство двигательных импульсов.

Совершенно то же самое происходит в родственных условиях обезболивания, вызванного лекарствами. Так, однажды, приходя в сознание после того, как мне дали закись азота, я ощущал, что громко вскрикиваю, но на самом деле, как сообщил мне приятель, сидевший рядом, издал лишь слабый гортанный звук. Точно так же мы видим, как спящие собаки слегка перебирают по очереди

всеми лапами — слабое, неудавшееся движение бега, которое в сознании спящей собаки, несомненно, может сопровождаться представлением, будто она мчится через поле за кроликом.

В этих снах о неудаче движения, как мне кажется, процесс сновидения вследствие приближения к бодрствованию смешался с действительными чувствительно-двигательными импульсами, но порог бодрствующей жизни еще слишком далек, чтобы действительные движения совершались полностью и успешно, а что касается конечностей, то нельзя призвать на помощь глаз, чтобы направлять движения, которые мышечные и кожные ощущения еще слишком омертвели, чтобы направлять. Важно помнить, что и в бодрствующей жизни при болезненных условиях может быть в точности такое же положение. При некоторых состояниях перерождения головного и спинного мозга, ведущих к ослабленной чувствительности мышц и нервов, человек неустойчиво покачивается, когда закрывает глаза, а при утрате чувствительности в руке порой невозможно удержать в ней предмет иначе как с направляющей помощью глаза.[25]

[25] Это объяснение, основанное на глубине и роде сна, совершенно отлично от теории Алиотты (*Il Pensiero e la Personalità nei Sogni*, 1905), который считает, что спящие различаются по своему нервному типу: человек зрительного типа пассивно присутствует при зрелище своих снов, тогда как человек двигательного типа принимает в них действительное участие. У меня нет тому свидетельств, хотя я и полагаю, что сны различаются в зависимости от личного типа спящего.

В одном сне пятнадцатилетней давности, который я теперь считаю обусловленным приближением минуты пробуждения, мне представлялось, что я прилагаю огромные усилия, чтобы переписать в тетрадь с прописями заглавную букву Н, выгравированную довольно своеобразно, но на деле не представляющую никаких трудностей для любого школьника наяву. Никак не мог я правильно передать пропорции — если

вообще мог провести хоть какую-то черту, — и под конец моих мучительных и тщетных усилий мне казалось, что я пытаюсь писать на песке, который лишь раздвигается под рукой. Это последнее впечатление явно принадлежит спящему, который уже достаточно проснулся, чтобы ощущать, как постельное белье подается под прикосновением.

Этот сон наводит на мысль, что неудача движения во сне, возможно, склонна сочетаться с усилением той изменчивости образов, которая составляет один из самых первичных элементов сновидения, и что и неудача движения, и усиление изменчивости образов вызваны, быть может, одинаково приближением к бодрствованию. Так, если во сне чистишь щеткой пальто, то без особого удивления обнаруживаешь, что свежие пятна пыли появляются снова и снова, даже когда усилия смахнуть их увенчались успехом. Даже когда мы чувствуем себя во сне способными двигаться, движение все же может не достигать своей цели.

Таким образом, вопрос о движении во сне, о наличии или отсутствии усилия и торможения, оказывается объяснимым в зависимости от глубины сна и от того, какие группы центров в нем участвуют. В полном нормальном сне движения чисто идеаторны, и никакой трудности в выполнении любого движения не возникает по той причине, что движения, да и попытки движения, на самом деле нет вовсе; если же и происходит легкое движение, весть о его действительной несостоятельности не может достичь мозга. Движение или попытка движения при большем или меньшем торможении бывают, когда двигательные и чувствительные центры находятся в частично пробужденном состоянии; это явление принадлежит периоду, непосредственно предшествующему пробуждению.[26]

[26] Дугалд Стюарт доказывал, что во сне утрачивается власть над мышечной системой и тело поэтому не подвластно нашему приказу: воля присутствует, но не может воздействовать на члены. Хаммонд, напротив, утверждал, что Стюарт совершенно неправ; причина, по которой произвольные движения не совершаются во сне, говорил он, в том, что воля приостановлена. «Во сне мы не волим своих действий. Нам кажется, что волим, вот и все» (*Treatise on Insanity*, с. 205). Дугалд Стюарт и Хаммонд, хотя язык их, возможно, был слишком метафизичен, с принятой мною точки зрения оба отстаивали вполне защитимые положения. В одном типе сна мы воображаем, будто легко совершаем всякого рода трудные и сложные действия, а в действительности не делаем никакого движения; легкость и быстрота, с которыми движется умственная машина, объясняются тем, что она отсоединена от передачи и не производит никакой работы. В другом типе сна мы делаем бурные, но недостаточные усилия двигаться и лишь отчасти преуспеваем; машина отчасти сцеплена с передачей и находится в состоянии, промежуточном между глубоким сном и бодрствованием.

Именно рассеянию заторможенных нервных импульсов по множеству каналов и той смутной и нерасчлененной форме, которую они поэтому принимают в сознании, мы, несомненно, должны главным образом приписать увеличение образов сна и преувеличение чувств во сне. Это не постоянная наклонность наших снов; иногда, быть может, на особых стадиях сознания во сне, бывает и уменьшение: люди кажутся не больше кукол, а дома — кукольными домиками, а в чувствах события, которые в действительной жизни потрясли бы нас, во сне могут приниматься как нечто само собой разумеющееся. Но усиление образов, представлений и чувств встречается очень часто. В наших снах есть своего рода нормальная мания величия. Нам уже попутно встретилось много примеров этого: зуб кажется таким большим, что в нем могла бы играть мышь, или похожим на огромную зубчатую скалу; раздражение от комара вызывает образ огромного алого жука; в пузырных снах видятся бесконечно текущие потоки; пение канарейки слышится как «Сотворение мира» Гайдна, а вой ветра становится распевом Te Deum.

Один французский автор дал впечатляющее литературное описание своих чисто зрительных снов, с их великолепными преувеличениями и радостной безмерностью, стремясь показать, что главная их черта — чрезмерность: «цветы — почти женщины».[27] Я, однако, не могу признать это характерным для обычного сновидения. Это больше похоже на опиумные сны Де Квинси или на видения, приходившие к Гейне, когда он слушал музыку Берлиоза. В обычном сновидении образы могут, правда, быть ошеломляюще огромными, или причудливыми до несообразности, или пронзительно сильными. Но обычные сны не строятся последовательно в колоссальном масштабе. Мания величия во сне лишь случайна и эпизодична, а не систематична.[28]

[27] Жак ле Лоррен, *Revue Philosophique*, июль 1895.

[28] Систематическая мания величия при душевной болезни может, однако, брать начало в снах: Режи и Лаланн (Международный медицинский конгресс 1900 года; Труды, секция психиатрии, с. 227) за короткое время встретили четыре случая, где так и произошло.

Усиление переживаний во сне может, однако, быть весьма полным, так сказать, во всех направлениях. Так, один мой приятель-ботаник отправился с большой компанией на приятную загородную прогулку, во время которой, когда он сидел в шарабане, знакомый мельник, стоявший на дороге, подал ему наверх цветок шиповника. Во сне приятного эмоционального тона следующей ночью этот случай повторился, но мельник превратился в ангела, который подал ему сверху вниз, а не снизу вверх, цветок, и это была моховая роза.

Таким образом, не только действительные раздражители во время сна подсказывают сознанию во сне образы такой величины, которая совершенно несоразмерна их действительной силе, но даже отзвук дневных событий во сне под влиянием

благоприятного эмоционального тона может подвергаться тому же усиливающему воздействию.

Поэтому можно сказать, что, хотя чрезмерность образов сна обусловлена главным образом состоянием нервных чувствительных и двигательных каналов, вероятно, существует и повышенная возбудимость самих мозговых центров — быть может, вследствие их диссоциации или отсутствия апперцепции,[29] — которая заставляет нас во сне непомерно бурно отвечать на раздражители, достигающие мозга. Одна дама говорит мне, что ей часто снится, будто она очень сердится из-за вещей, которые по пробуждении оказываются сущими пустяками и наяву никогда не рассердили бы ее.[30] Всем знакомо, что вещи, которые во сне поражают нас красотой, красноречием, остроумием, глубиной или забавностью, уже не кажутся такими — или кажутся лишь в гораздо меньшей мере, — когда нам удается припомнить их наяву.

[29] Это, по-видимому, признавал Вундт, который считает вторичным условием состояния сна «функциональный покой чувствительных центров и центра апперцепции», ведущий к повышенной скрытой энергии, которая придает возбуждениям необычную силу. Кюльпе (*Outlines of Psychology*, с. 212) доказывает, что существование ярких снов показывает: усталость с ее ослабленной способностью к ассоциациям не затрагивает самих центральных ощущений; однако эта повышенная возбудимость, вытекающая из диссоциации, сама может рассматриваться как признак усталости: гиперестезия и анестезия одинаково суть признаки истощения.

[30] Изнеможение, которое порой ощущается при пробуждении от сна, быть может, свидетельствует о его эмоциональной силе. Дельбеф сообщает, что один его друг пережил во сне такое страшное эмоциональное напряжение, что, когда он проснулся, его черные волосы оказались совершенно седыми.

Все эти различные соображения подводят нас к центральному факту психологии сновидения — к управляющей власти эмоции над представлениями сна. С нашей нынешней точки зрения мы можем теперь сказать, что главная функция сновидений —

доставлять удовлетворительные теории, объясняющие увеличенные эмоциональные импульсы, которые обрушиваются на спящее сознание. Это ключ к воображению в сновидениях. С самого начала мы видели, что в жизни сна ум всегда свободно и деятельно рассуждает; теперь мы видим, каковы обычно подлинный побудитель и цель этого рассуждения. На спящее сознание набегают волны эмоции из различных частей организма, но оно совершенно не способно обнаружить их источник и потому придумывает им объяснение. Так что во сне нам приходится сплетать теории о непознаваемом источнике наших эмоций, точно так же, как наяву мы сплетаем теории о конечном источнике всей совокупности нашего опыта. Таким образом, можно сказать, что основной источник жизни наших снов — эмоция.[31]

[31] Основополагающую роль эмоции в сновидениях более или менее ясно признавали различные исследователи. Так, К. Л. Херрик, изучавший свои сны много месяцев, нашел, что существенный элемент в них — эмоциональный, а не идейный, и что, более того, если вспомнить их *сразу же*, с закрытыми глазами и не шевелясь, они почти лишены умственного содержания (*Journal of Comparative Neurology*, т. III, с. 17, 1893). Р. Макдугалл считает сновидение «чередой сильных состояний чувства, поддерживаемых минимумом идейного содержания», или, как он говорит еще точнее, «чувство первично; содержание представлений — нечто выводимое» (*Psychological Review*, т. V, с. 2). Грейс Эндрюс, которая вела запись своих снов (*American Journal of Psychology*, октябрь 1900), нашла, что чувства во сне часто сильнее и ярче, чем в бодрствующей жизни: «чувство во сне кажется мне самым реальным элементом жизни сна». П. Менье («Des rêves stéréotypés», *Journal de Psychologie normale et pathologique*, сентябрь — октябрь 1905), в свою очередь, утверждает, что «подкладку сновидения составляет кенестезия, то есть общее телесное самочувствие, или эмоциональное состояние. Умственная операция, которая переводит для сознания спящего, пока он спит, эту кенестезию или эмоциональное состояние, и есть то, что мы называем сновидением».

Несомненно, нет во сне более глубокого эмоционального возбуждения, чем то, что возникает от расстроенного или

переполненного желудка и отражается через блуждающий нерв на ускоренной работе сердца и возбужденном дыхании.[32] Тем самым мы ввергаемся в состояние эмоционального смятения, муки и ужаса, какого редко или вовсе никогда не достигаем в бодрствующей жизни. Спящее сознание, с завязанными глазами и спотыкаясь, отданное во власть этих мощных волн, идущих снизу, и отчаянно нащупывающее хоть какое-нибудь объяснение, хватается за мысль, что лишь попытка спастись от какой-то страшной опасности или сознание вины за какое-то ужасное преступление могут объяснить это огромное эмоциональное смятение. Так сон пропитывается убеждением, которое поддерживается не утихающей эмоцией. Мы — как, по-видимому, проще и разумнее всего заключить — испытываем ужас не оттого, что думаем, будто совершили преступление, а думаем, что совершили преступление, оттого что испытываем ужас. И то, что в таких снах нас гораздо больше заботит, как избежать последствий преступления, чем какие-либо муки раскаяния, объясняется не врожденным нашим равнодушием к преступлению, как думают некоторые, а просто тем, что наше эмоциональное состояние подсказывает нам деятельное бегство от опасности, а не более пассивную скорбь раскаяния. Так наши сны свидетельствуют о том, что наш разум зачастую лишь орудие в руках наших эмоций.[33]

---

[32] Ночные страхи у детей, как часто находили, имеют источником расстройства желудка или кишечника. Грэм Литтл сводит вместе мнения разных авторитетов на этот счет, хотя сам склонен придавать главное значение болезни сердца, вызывающей легкие нарушения дыхания, так как нашел, что почти в двух третях его случаев (17 из 30) ночные страхи были связаны с начальной болезнью сердца (Грэм Литтл, «The Causation of Night-Terrors», *British Medical Journal*, 19 августа 1899). Следует добавить, что ночные страхи чаще делят на два класса: 1) идиопатические (чисто мозгового происхождения) и 2) симптоматические (вызванные рефлекторным нарушением от различных местных расстройств);

см., например, Гатри, «On Night-Terrors», *Clinical Journal*, 7 января 1899. Дж. А. Саймондс хорошо описал свои детские ночные страхи (Горацио Браун, *J. A. Symonds*, т. I). Лафкадио Херн (в очерке «Nightmare-Touch» в книге *Shadowings*) также живо рассказывает о своих детских ночных страхах.

[33] Насколько я знаю, еще никто не указывал, что такие сны можно было бы привлечь в поддержку теории Джемса — Ланге, или физиологической теории эмоций, согласно которой элемент телесного изменения в эмоции есть ее причина, а не следствие.

В этой наклонности, можно заметить, мы видим основу символизма, который играет в сновидениях столь существенную роль. Такой символизм основан на том, что мы связываем две вещи — даже если одна из них физическая, а другая духовная, — которые обе предполагают сходное состояние чувства.[34] Символизм этого рода, впрочем, свойствен человеческому уму во все времена, на всех ступенях его развития. Так, физическое представление о *высоте*, по-видимому, выражает и нравственное представление, которое мы ощущаем как соответствующее ему, а полынь и желчь дают вкус, позволивший людям говорить о том, что казалось им соответствующей *горечью* смерти. В сновидениях эта естественная наклонность ума может действовать беспрепятственно и безудержно. С большой легкостью она действует на любой импульс, идущий из области желудка, потому что эта область — средоточие различных ощущений и эмоций, и физических, и нравственных, которые, таким образом, могут символически замещать друг друга.[35]

[34] Эту физиологическую символику ясно понимал еще давно Гоббс: «Как гнев вызывает жар в некоторых частях тела, когда мы бодрствуем, так во сне перегрев тех же частей вызывает гнев и порождает в мозгу образ врага. Подобным же образом, как природная нежность, когда мы бодрствуем, вызывает желание, а желание производит жар в некоторых других частях тела, так и излишний жар в этих частях, пока мы спим, порождает в мозгу образ оказанной нежности. Словом, наши сны суть обращение наших представлений наяву: движение, когда мы

бодрствуем, начинается с одного конца, а когда видим сны — с другого» (*Левиафан*, ч. I, гл. 2).

[35] «Боль разочарования, тревоги, неуспеха, всех неприятных эмоций, — замечает Мерсье (статья „Consciousness“ в *Dictionary of Psychological Medicine* Тьюка), — сопровождается определенным чувством подавленности, которое во всех случаях относится к подложечной области». Он добавляет, что удовольствия успеха и доброй славы, эстетическое наслаждение и т. д. тоже сопровождаются определенным чувством в той же области. Этот факт указывает на крайнюю смутность органического ощущения. На деле относительно природы и даже самого существования органического ощущения много неясности и большое расхождение мнений; см., например, тщательный обзор главных взглядов, сделанный доктором Элси Мюррей («Organic Sensation», *American Journal of Psychology*, июль 1909).

Даже когда мы осознаем процесс превращения и иррадиации, только через который органические ощущения и могут достичь мозга во сне, и неизбежные «ошибки суждения», которые при этом возникают, все же может показаться странным и загадочным, как раздражитель, берущий начало в желудке, воздействуя на соседние внутренние органы, на своем окольном пути по нервам и через мозг превращается — а так может случиться — в трагическую сцену, никогда не пережитую и даже никогда сознательно не воображенную, как, например, — приведу собственный сон — в пламенное видение, где я следую за вожаком, в действительной жизни человеком мирным и безобидным, который с револьвером в руке бросается в гущу врагов, стреляя и попадая под выстрелы, каждую минуту рискуя жизнью и всякий раз чудом спасаясь.

Я могу пояснить это превращение следующим примером. Одной даме приснилось, что муж отозвал ее в сторону и сказал: «Только не кричи и не поднимай шума; я должен тебе кое-что сказать. Мне придется убить человека. Это необходимо, чтобы прекратить его мучения». Затем он повел ее в свой кабинет и показал молодого человека, лежавшего на полу с раной в груди,

весь в крови. «Но как ты это сделаешь?» — спросила она. «Неважно, — ответил он, — предоставь это мне». Он что-то взял и склонился над человеком. Она отвернулась и услышала ужасный булькающий звук. Потом все было кончено. «Теперь, — сказал он, — надо избавиться от тела. Пошли за повозкой такого-то и скажи ему, что я хочу сам ею править». Повозка прибыла. «Ты должна помочь мне завернуть тело в сверток, — сказал он жене, — дай мне побольше оберточной бумаги». Они сделали из него сверток, и с ужасным трудом и усилием жена помогла мужу снести тело вниз по лестнице и поднять его на повозку. На каждом шагу, однако, она указывала ему на трудности положения. Но он беззаботно отвечал на все возражения, говорил, что отвезет тело на пустошь, к камням, снимет оберточную бумагу, и люди подумают, что убитый покончил с собой. Он уехал и вскоре вернулся с пустой повозкой. «Что это за кровь у меня в повозке?» — спросил ее хозяин, заглянув внутрь. «А, это просто краска», — ответил муж. Но спящую все время не покидал страх, как бы дело не открылось, и последнее, что она могла припомнить, прежде чем проснуться в ужасе, — как она смотрит в окно на большую толпу, окружившую дом с криками «Убийство!» и угрозами.

Эта трагедия, почти в духе елизаветинской драмы, была построена из нескольких обыденных впечатлений предыдущего дня, ни одно из которых не заключало в себе никакого намека на убийство. Трагический элемент, по-видимому, всецело обязан психическим влияниям несварения после ужина из фазана.[36] Чтобы объяснить нашу подавленность во сне, спящее сознание предполагает нравственные причины, которые одни кажутся ему достаточно весомыми, чтобы соответствовать огромным эмоциям, которые мы переживаем. Даже в бодрствующих и вполне сознательных состояниях мы склонны отдавать

предпочтение нравственным причинам перед физическими, совершенно независимо от того, справедливо ли такое предпочтение; во сне эта наклонность преувеличена, и господство чисто нравственных причин редко нарушается хотя бы намеком на физическую причинность.

[36] Более чем через десять лет та же дама, совершенно забывшая обстоятельства этого сна, снова увидела яркий сон об убийстве, поев на ночь фазана; на этот раз убить должны были ее саму, и она проснулась с ощущением, что борется с тем, кто хотел ее убить.

В эмоциональном сне сходного висцерального происхождения мне снилось, что я должен умереть, — почему или как, я, проснувшись, сказать не мог. Чтобы положить конец моим страданиям, жена, как мне представилось, дала мне какое-то вещество, подмешанное в варенье. Вкус показался мне странным — не горьким, как я вспомнил, проснувшись, а теплым и пряным, — и я спросил, что она туда положила. Она ответила, что стрихнин. Я заметил, что это был бы очень мучительный способ умереть, и отказался есть дальше. Я раздумывал, не принял ли я уже ядовитую дозу и не лучше ли прибегнуть к противоядию; единственным противоядием, пришедшим мне на ум, были опийные пилюли. Тем временем ужас надвигающейся смерти становился все острее, пока наконец я не проснулся. Тут я обнаружил, что у меня болит голова, во рту слабый привкус и общее недомогание, явно связанное с легким расстройством желудка. Определенные образы, выдвинутые сном, все были довольно привычны мне накануне, но мысль о надвигающейся смерти, пронизывавшая весь сон так неопределенно и бессвязно и вместе с тем так остро, была всецело теорией, объясняющей смутные и широко разлитые сигналы недомогания, которые достигали спящего мозга.

Многие не хотят признать, что столь трагические, волнующие или трогательные душевные явления, какими бывают такие сны, могут получать толчок от источника, который кажется им столь низменным, как желудок. Так, Фредерик Гринвуд, у которого было очень возвышенное представление о назначении сновидений, допускал эту связь лишь неохотно и старательно оговаривал, что «если нездоровый ужин и порождает подобные явления, то лишь в том смысле, в каком птица, поющая в небе, породила шеллиевскую „Оду к жаворонку“».[1] На деле это сравнение даже преуменьшает расстояние между телесным толчком таких снов и тем, что сопровождает его в душе. Говоря о снах, мы должны стать на точку зрения спящего. Поэт сознавал, что его вдохновение пробуждено пением птицы, а спящий вовсе не сознает, что трагедии, которые он переживает в воображении, вызваны работой его внутренних органов. О неладах внутренностей он не знает ничего; если бы он осознавал хоть что-то из тех телесных фактов, которыми занято бодрствующее сознание, он перестал бы быть спящим. Он живет в душевном мире, куда телесные факты, изнутри или извне, не могут проникнуть, пока не преобразятся. Поэтому положение его схоже не с положением поэта, который сознательно стремится истолковать пение птицы, а скорее с положением самой птицы — того поэта, что «сокрыт в сиянье мысли», — величаво не ведающей о механизме, который открывается в ее же собственном строении.

[1] Ф. Гринвуд. *Imagination in Dreams*, с. 31.

Объяснения, которые спящее сознание придумывает для неприятных ощущений, идущих от желудка, не обязательно трагичны. Так, после довольно тяжелой для пищеварения еды мне снилось, что я медленно и мучительно ем хлеб, смешанный с

золой и мышиным пометом, тщетно стараясь избежать этих примесей, а когда трапеза кончилась, рот у меня оказался полон золы. Проснувшись, я не нашел во рту ни вкуса, ни какого бы то ни было ощущения, и сон, по-видимому, был теорией, объяснявшей некое расстройство желудка. Такая теория кажется менее натянутой, чем теория убийства, и, вероятно, говорит о куда менее выраженном и менее разлитом расстройстве внутренностей. Порой теории, которые спящее сознание принимает для объяснения действительных ощущений, правдоподобны и остроумны, а то и вполне подходящи и вероятны. Так, одной даме снилось, что она пьет бокал за бокалом шампанское и при этом говорит себе, что потом ей придется за это расплачиваться. Проснувшись, она обнаружила, что ощущает легкие ревматические боли и недомогание, которые и впрямь бывали у нее после бокала-другого шампанского. Шампанского она не пробовала и не вспоминала о нем уже довольно давно; шампанское во сне было теорией, придуманной для объяснения действительно испытываемых ощущений, хотя сами эти ощущения оставались за пределами спящего сознания.

В большинстве приведенных мною примеров того, как чувство, идущее от внутренностей, подсказывает теории сновидения, источником был желудок. Нет сомнения, что в этом отношении желудок имеет огромное влияние: легко и постоянно меняющаяся степень его наполнения, его срединное положение и склонность давить на другие органы, его важные нервные связи, а также то, что сон порой затрудняет его работу и вызывает расстройство, — все это вместе придает ему многостороннее и широкое влияние на состояние чувств во сне и в то же время делает источник этого состояния особенно трудным для распознания спящим сознанием.

Легко, однако, показать, что любое отчетливое или сильное ощущение, длящееся или возникающее во сне, может точно так же привести к душевному состоянию, которое спящее сознание вынуждено объяснять. Так, однажды, заснув с зубной болью в необычайно душную ночь, я увидел во сне, что совершил убийство, — по-видимому, убил нескольких человек, — и после ареста раздумывал, сочтут ли мой поступок непредумышленным убийством. Источником снов может быть и головная боль. Так, заснув с головной болью, я вижу во сне, что жду курьерского поезда в Лондон; к платформе подходит курьерский поезд, и я не могу удостовериться, тот ли это поезд, что мне нужен. Объяснение кажется очевидным: от поездок по железной дороге болит голова, и потому во сне, вместе с сопутствующими образами, выдвигается именно это, чтобы объяснить испытываемые ощущения. Само действительное ощущение, то есть головная боль, как всегда бывает во сне, остается в подсознании, а вернее — совершенно вне сознания; поле сознания занимают лишь образы, которые она подсказывает.[2]

[2] Сны о поездках по железной дороге, и особенно о том, что опаздываешь на поезд, не всегда связаны с головной болью или каким-либо другим распознаваемым состоянием. Это очень распространенный тип сна, объяснить который не совсем легко. Доктор Сэвидж, например, сообщает, что у него самого едва ли проходит неделя без такого сна, хотя наяву он почти никогда не опаздывает на поезд и никогда об этом не тревожится. Вундт считает, что сны, в которых мы ищем что-то и не можем найти или что-то где-то оставили, вызваны смутными расстройствами общего самочувствия, несущими чувства той же окраски, например неудобным положением или легкой неровностью дыхания. Я сам независимо заметил ту же связь, хотя проследить ее удается не всегда.

С головной болью, однако, может быть связан и совсем иной тип сна. Так, однажды мне снилось, что я нахожусь в огромном сумрачном английском соборе и вижу на стене объявление о том, что в такой-то день вечерня пройдет без освещения собора, чтобы

не привлекать мотыльков. Проснулся я с легкой головной болью. Здесь прохладный, безмолвный сумрак собора — символ того, чего хочется, чтобы успокоить больную голову, а причудливое соображение, прочитанное в объявлении, — всего лишь теория спящего сознания, которое ничего не знает о настоящей причине этого желания.

Сны об убийстве, о близкой смерти и подобных трагических положениях вызываются, по-видимому, обычно раздражениями, идущими от внутренностей. В некоторых случаях, однако (как в знаменитом сне Мори о гильотине), их причина — внешнее ощущение на коже. Когда раздражение приходит, таким образом, с поверхности тела, эмоциональная сторона, даже если положение во сне трагично, бывает, по-видимому, обычно (хотя это не вполне достоверно) менее выражена, чем когда раздражение идет от внутренностей. Так, в одном моем сне, вызванном, видимо, неудобным положением головы и шеи, мне снилось, что я умер (хотя почему-то я был не самим собой, а более или менее слился с уродливой старухой) и меня вскрывают. Потом очень постепенно я стал смутно и спокойно сознавать происходящее, хотя оставался неподвижным, все время считал себя мертвым и полагал, что мое слабое сознание — всего лишь часть смерти. Тем временем шли приготовления к похоронам, и меня уже собирались заколотить в гробу. Тут я с ужасом понял, что от этого задохнусь, и, сделав огромное усилие, сумел пошевелить руками и что-то бессвязно проговорить. После этого приготовления к похоронам прекратились, и очень медленно ко мне как будто стали возвращаться речь и способность двигаться. Но я чувствовал, что должен быть крайне осторожен в движениях из-за ран, оставленных вскрытием; особенно я чувствовал боль в шее и понимал, что двигать головой нельзя, иначе может наступить

мгновенная смерть. В таком сне, как и в некоторых других, мною записанных, можно очень наглядно увидеть, какие перемены вносит в сон и в отношение спящего приближение бодрствующего сознания. Отношение спящего к воображаемому положению все больше становится таким, каким оно было бы, случись это положение наяву, и как только появляется мучительное усилие и несовершенное движение мышц, пробуждение уже близко.

Участие внутренностей и чувств в сновидении помогает объяснить нравственное отношение спящего и подлинное значение тех преступных поступков во сне, которые нередко истолковывались неверно. Многие писавшие о сновидениях с глубокой озабоченностью указывали на то, как легко и часто во сне совершаются убийства, — то как на доказательство врожденной порочности человеческой природы, проявляющейся в раскованности сна, то как на свидетельство атавистического возврата к складу чувств наших предков, когда во сне снимается тонкий слой цивилизации. Модсли и госпожа де Манасеина, например, видят в таких снах свидетельство возврата к древнейшему складу чувств. Кларк говорит о «полном отсутствии нравственного чувства» во снах.[3] Профессор Некке, много занимавшийся явлениями сновидения, пишет в частном письме: «Меня поражает — я заметил это на себе — малоизвестный факт, что во сне характер человека становится хуже. Проясняются не только самые тайные мысли, желания и стремления, но и качества, которых прежде никогда не замечали, например человек становится убийцей, прелюбодеем и т. д.». Особенно подробно разработал эту сторону снов, как представляющих исполнение самых тайных желаний спящего, Фрейд.[4]

[3] Э. Х. Кларк. *Visions*, с. 294.

[4] Своеобразное и вполне серьезное толкование обычного сна об убийстве, поездке по железной дороге и близкой смерти, который видела Анна Кингсфорд, дает ее друг и биограф Эдвард Мейтленд: *Anna Kingsford*, т. I, с. 117.

Вполне возможно, что в мнении, будто во сне мы возвращаемся к душевным состояниям, несколько более близким к состояниям древнейших времен, есть доля истины. Именно многообразие и сложность наших душевных представлений не дают нам в условиях цивилизации тотчас отзываться на порыв, а когда вследствие диссоциации в сознании присутствуют лишь немногие группы, задержка насильственных действий слабеет. Поэтому если во сне мы бываем более жестокими, более безнравственными, более преступными, чем наяву, это вовсе не обязательно следует считать откровением нашей истинной природы; это лишь неизбежное следствие душевной диссоциации, которая не дает многим важным группам душевных представлений проникнуть в сознание и в то же время ставит все наше душевное достояние в одну плоскость, так что вещи, о которых мы только думали или слышали, обретают ту же зримую действительность, что и наш собственный опыт. Сон настоящего преступника, как показал Санте де Санктис на основе обширного опыта, даже у преступников, виновных в тяжких насильственных деяниях, склонен быть спокойным и без сновидений, а те сны, что у них бывают, обычно просты и невинны. Если нормальным людям часто снятся преступления, то потому, что они чувствительнее и обладают большим воображением, и потому, что спящее сознание напрягается до предела, чтобы придумать призрачную трагедию, соразмерную волнам чувства, которые на него накатывают.[5]

[5] Различные мнения о нравственности во сне собраны у Фрейда: *Die Traumdeutung*, с. 45 и далее.

Есть и другая причина, по которой мы можем оказаться во сне участниками преступных дел. Чисто автоматический процесс, в силу которого образы сновидений непрестанно сменяются, следуя ассоциациям по сходству или смежности, приводит к путанице, не коренящейся ни в каком личном или древнем порыве, — как в упомянутом мною прежде случае дамы, которая за обедом разрезала утку, а через несколько часов проснулась, изнемогая от воображаемого усилия отрезать голову мужу. Такой сон — лишь механический поворот калейдоскопа видений, сводящий вместе два не связанных друг с другом образа.

Самой же могущественной причиной преступлений во сне, и особенно убийств, в которых мы оказались повинны еще до начала сна, явно служит, по-видимому, тот эмоциональный фактор, идущий от внутренностей, который хорошо показан одним-двумя уже приведенными снами.[6] И в этих случаях речь идет не о каком-либо древнем или личном побуждении к преступлению: мы чувствуем себя настолько во власти всех телесных признаков ужаса, что единственным подходящим объяснением нашего состояния кажется теория, будто мы совершили убийство. А если нас больше заботит, как скрыться от правосудия, чем раскаяние, то это явно потому, что сердце, действительно надрывающееся и взволнованное, гораздо сильнее наводит на мысль о бегстве от погони, чем на какое-либо пассивное чувство.[7] К тому же нет чувства более основного и древнего, чем страх.

---

[6] Хед («Mental Changes that Accompany Visceral Diseases», *Brain*, 1902, с. 802) указывает на связь между болью во внутренностях и противообщественными побуждениями и полагает, что внутренности, будучи частью древнейшей и самой самостоятельной системы тела, являются сознанию как «вторжение извне, необъяснимое наваждение».

[7] «Во сне, — замечает У. Д. Хоуэллс, — я всегда меньше сожалею о своих проступках, чем о том, что они могут открыться» («True I talk of Dreams», *Harper's Magazine*, май 1895).

Хотя все эти соображения вместе лишают преступные сны, когда они бывают, сколько-нибудь большого значения как показателя скрытой нравственности спящего, должен добавить, что я вовсе не готов согласиться с тем, будто нравственные чувства так уж отсутствуют во сне, как утверждали многие авторы. Часто бывает ослабленное чувство нравственности, более легкая уступчивость искушению, чем наяву, ослабленное раскаяние — эти склонности обусловлены главным образом условиями жизни во сне, — но нередко во сне бывает и сильное нравственное чувство, а также живое понимание общественных приличий. Люди с необычайно сильным нравственным чувством наяву часто, думается мне, обнаруживают такую же склонность и во сне, но в снах большинства людей соображения нравственности и благопристойности, как правило, дают о себе знать более или менее явственно, почти как в бодрствующей жизни. Стоит привести несколько снов, которые попутно показывают нравственное отношение спящего.

Одна дама рассказала следующий сон тотчас по пробуждении: «Я убила какую-то женщину по некой нравственной или политической причине — какой, не помню — и в великой муке пришла к мужу с ее туфлями и цепочкой от часов. Он обещал мне помочь, и пока я раздумывала, что можно сделать для семьи этой женщины, кто-то вошел и объявил, что сейчас будет прочитана лекция о красоте наготы. Тогда я с несколькими чопорными и почтенными дамами из числа моих знакомых [имена были названы] пошла в переполненный зал. Вошел лектор — с виду известный член парламента — и произнес весьма красноречивую

речь об Уитмене, наготе, некрасивых фигурах и т. д. Особенно он подчеркнул, что люди потому возмущаются наготой, что обычно видят лишь некрасивые тела, которые отталкивают их, потому что непохожи на их идеалы. Затем он протянул руку, и в комнату вошла обнаженная женщина. Красота ее была необычайна; формы ее были совершенно округлы, но без намека на сладострастие, и хотя она не была ожившей статуей, а обладала всеми чертами живого человека, она шла, покачивая бедрами, слегка склонив голову, и распущенные волосы обрамляли лицо, выражавшее удивительную духовную красоту и невинность. Лектор обвел ее кругом, говоря: „Вот красота; и если вы можете смотреть на это и стыдиться…“ — и взмахнул рукой. Она ушла, и в комнату вошел прекрасный юноша, подобный Аполлону, стройный, но атлетически сложенный, тоже совершенно нагой. Он один обошел комнату с видом величавой мужественности. Я зааплодировала, хлопая в ладоши, но присутствующих дам пробрала дрожь; кожа у них покрылась мурашками, а губы задрожали от ужаса, словно над ними вот-вот надругаются. Юноша вышел, и лектор продолжал. В самый разгар его красноречия юноша, подобный Аполлону, вошел, одетый как простой солдат, без всякого следа красоты, и грубо сказал: „Эй! С вас шиллинг за эту работу“. (А я вздохнула про себя: „Всегда так“.) Шиллинга ни у кого не оказалось, и лектор стал объяснять этому человеку, что все, что он сделал, сделано ради искусства и красоты и ради нравственного блага мира. „А мне что до того? — возразил тот. — Мне выпить охота“. Тогда одна дама из публики достала воротничок, написала на нем благодарственный отзыв, выражавший признательность присутствующих за услуги этого человека по сему случаю, и вручила его мне, чтобы я передала ему. „Черт возьми, — сказал он, — это стоит каких-то два с половиной пенса; подавайте мой шиллинг!“ Тут я проснулась».

Мысль об убийстве, с которой начался этот сон, наводит на предположение, что он мог возникнуть из какого-то легкого расстройства внутренностей, которого спящая не сознавала, но ничто не подсказывало подробностей происшедшего. Любопытно в нем то, что на всем его протяжении присутствуют нравственные понятия и чувства, по существу верные тем, что были у спящей наяву.

В другом сне той же дамы ясно присутствует чувство ответственности: «Миссис Ф. и мисс Р. зашли ко мне, и я сидела у себя в комнате, беседуя с ними, когда раздался стук в дверь, и я увидела там бедную женщину из нашей округи, которая во сне в то же время соединяла в себе мальчика-посыльного из дома одной моей дорогой подруги. От этой подруги, от которой я уже некоторое время не получала вестей, женщина принесла большое письмо. Она вскрыла его при мне со словами: „Здесь написано, что подательница должна это вскрыть“, — и достала из него другое письмо, большой документ юридического характера, написанный рукой моей подруги. Когда женщина принялась вскрывать второе письмо, я запротестовала: я была уверена, что тут какая-то ошибка, что это письмо личное и никто другой не должен его видеть. Однако женщина твердо стояла на том, что должна выполнить указания, и у нас вышел долгий спор. Через некоторое время я позвала миссис Ф. и обратилась к ней. Она согласилась со мной, что указания могут означать только то, что подательница должна вскрыть наружный конверт, а не письмо внутри. Наконец я достала пять шиллингов, отдала их женщине и сказала, что всю ответственность за вскрытие письма беру на себя. С этим она ушла вполне довольная, сказав (как сказала бы и наяву): „Ладно, миссис ***, вы леди, вам виднее. Ладно, голубушка“. Тогда наконец

я смогла вскрыть свое письмо и прочла слова: „Всегда пользуйтесь мылом ‚Санлайт'". Досада моя была безмерна».

В другой раз та же дама испытала во сне раскаяние. Ей представилось, что она в ресторане и девушка за стойкой показывает на бочонок пива — золотой бочонок, сказала она, с волшебным ключом, — который может открыть только хозяин. Спящая, однако, заявила, что может его открыть, и, достав ключ, открыла и стала угощать пивом стоявших вокруг. Тут она поняла, что совершила кражу, и ее охватило раскаяние. Она спросила подругу, не следует ли ей сказать хозяину, но подруга ответила: «Ни в коем случае». Такое завершение сна, по-видимому, указывает на то, что нравственное чувство, хотя и присутствует во сне, легко ослабевает.

В еще одном сне эта дама обнаружила любопытное сочетание нравственной чуткости и преступного безразличия. Ей представилось, что, гуляя с одним мужчиной, своим другом, она открыла ему тайну одной своей подруги. Затем, поняв, что обманула доверие, она решила, что лучшее, что она может сделать, — это убить этого человека. Поразмыслив, однако, она подумала, что это было бы все-таки нехорошо, раз он ее друг, и потому сказала ему, что если он когда-нибудь повторит эту тайну, она велит разорвать его на куски. Как видим, выдача тайны ощущалась как проступок гораздо более тяжкий, чем убийство. Легкость, с какой в подобных снах приходит мысль об убийстве даже к тем, кто наяву не питает никаких кровожадных или мстительных мыслей, безусловно, замечательна.

Часто говорят, что во сне эротические внушения возникают с чрезвычайной легкостью и охотно принимаются спящим. Отчасти это верно, но далеко не всегда. Это можно показать на следующем сне, источники которого легко проследить: за два дня до того я

видел, как жители Ист-Энда резвились на Хэмпстед-Хит в банковский праздник, а накануне побывал в картинной галерее, и обе группы впечатлений, по обычному правилу путаницы сновидений, искусно соединились. Мне представилось, что, когда я шел по проселку, внезапный поворот вывел меня на более широкую часть дороги, поросшую травой, в самую гущу толпы женщин, рослых и хорошо сложенных, по большей части совершенно нагих, которые резвились вместе, особенно перетягивая канат; некоторые из них были верхом. Мое появление слегка их встревожило, я слышал, как одна выкрикнула мое имя, и они отчасти отпрянули и отчасти прервали свои игры, но лишь в очень малой степени и без особого смущения. Сам я был довольно смущен и, взглянув на них еще раз, повернул назад. Потом моя прогулка снова привела меня туда, откуда они были видны, и мне пришло в голову, что женщины несколько меняют свои обычаи, и перемена эта, как мне показалось, весьма здоровая. Но одной-двум из них я заметил, что им следовало бы все время двигаться, чтобы не простудиться. Никаких эротических внушений не было, хотя сон, можно сказать, к ним располагал.

Во сне может присутствовать и мысль о нравственном воздаянии и вечном наказании. Это можно показать на сне одной дамы, с которой спала больная и беспокойная девушка-компаньонка и которую вдобавок тревожил визжавший и завывавший за окном терьер. Кроме того, она недавно услышала, что один ее друг привез из Африки питона. «Прошлой ночью мне снилось, что рядом со мной стоит корзина с холодными извивающимися змеями; они касались меня со всех сторон, но вреда не причиняли; я сходила с ума от омерзения и ненависти к ним, а эти твари все не убивали меня. Это, подумала я, и есть мое вечное наказание за грехи». Наяву спящая не страшилась вечного

наказания, и, быть может, в таком случае, как полагает Фрейд, непривычная нравственная мысль всплывает во сне примерно так же, как может всплыть непривычный или «забытый» факт.

В целом можно сказать, что хотя нравственное отношение в состоянии сна обычно не совпадает с нравственным отношением в состоянии бодрствования, нравственное отношение все же почти всегда есть. Иначе едва ли и могло бы быть. Наши эмоциональные состояния тесно связаны с нравственными отношениями; мы не могли бы переживать столь сильные чувства, какие испытываем во сне, со всеми их трагическими спутниками, если бы у нас вовсе не было чувства нравственности.

ГЛАВА VI. ПОЛЕТЫ ВО СНЕ

✦

Сны о полете и падении — Их особая яркость — Сны о полете как предполагаемый пережиток первобытного опыта — Лучшее объяснение: дыхательные ощущения в сочетании с онемением кожи — Объяснение снов о падении — Ощущение левитации, которое порой испытывали святые в экстазе — Его испытывают также в миг смерти.

Сны о полете, вместе со снами о падении, с которыми они иногда бывают связаны, по праву можно считать самым известным и самым частым типом сновидений. Они были среди первых снов, привлекших к себе внимание. Рутс доказывает, что греческое представление о летающем Гермесе, боге, который имел особую власть над снами, основано на подобных переживаниях. Лукреций в своем любопытном рассуждении о психологии сновидения говорит о падении с высоты во сне;[8] Цицерон, по-видимому, упоминает о снах о полете; святой Иероним сообщает, что был им подвержен; Синезий замечал, что во сне мы летаем на крыльях и смотрим на мир издалека; Сервантес точно описал сон о падении.[9] Начиная с создателей легенды об Икаре, люди твердо держались веры в то, что при некоторых обстоятельствах они могут летать, и вполне можно предположить, что эта вера отчасти обязана своей убежденностью, а также решимостью воплотить ее на деле, опыту, обретенному во сне.

[8] Кн. IV, 1014–1015:
«…de montibus altis

Se quasi præcipitent ad terram corpore toto».

[9] «Мне много раз случалось, — говорит дочь хозяина постоялого двора в „Дон Кихоте“ (ч. I, гл. XVI), — видеть во сне, будто я падаю с башни и никак не долечу до земли, а проснувшись, чувствовать себя такой разбитой и потрясенной, словно я и вправду упала».

И в самом деле, никакие сны не бывают столь яркими и столь убедительными, как сны о полете; ни одни не оставляют после себя столь сильного чувства действительности пережитого. Раффаэлли, выдающийся французский живописец, которому во сне случается парить в воздухе, признается, что это так убедительно, что, проснувшись, он соскакивал с постели и пытался это повторить. «Нет нужды говорить вам, — добавляет он, — что это мне ни разу не удалось».[10] Герберт Спенсер упоминает, что в обществе из дюжины человек трое засвидетельствовали, что в юности им снились такие яркие сны о том, как они слетают вниз по лестнице, и действительность пережитого произвела на них такое сильное впечатление, что они и вправду попытались это сделать, причем один из них в итоге повредил лодыжку.[11] Записан случай одной старой француженки, которая всегда утверждала, что однажды ей и впрямь удалось на несколько мгновений удержаться в воздухе.[12] Никто из тех, кому знакомы эти переживания во сне, не станет смеяться над этой старушкой. Именно во время одного из таких снов о левитации, когда видишь, что прыгаешь в воздух и можешь в нем держаться, мне пришло в голову написать на эту тему статью, ибо во сне я думал, что эта сила, которой я, как оказалось, обладаю, вероятно, распространена гораздо шире, чем принято думать, и что во всяком случае о ней следует всем знать.

[10] Шабане. *Le Subconscient*, с. 43.

[11] Герберт Спенсер. *Principles of Sociology*, 3-е изд., т. I, с. 773.

[12] *L'Intermédiaire des Chercheurs et des Curieux*, 31 мая 1906.

Люди, увлеченные оккультным, бывали так поражены подобными снами, что порой верили, будто эти полеты — настоящие странствия «астрального тела». Так думает полковник де Роша.[13] Сезар де Весм, редактор французского издания «Анналов психических исследований», счел нужным изучить этот вопрос и, подведя итоги *анкеты* о снах о полете, пришел к выводу, что «ощущение воздушного полета во сне есть просто галлюцинаторное явление исключительно физиологического [он имеет в виду „психологического"] рода», а не свидетельство существования «астрального тела».[14] Тем не менее то, что находится так много людей, верящих, будто такие сны обладают некой действительностью, ясно показывает, какое сильное впечатление они производят.

[13] Де Роша описывает это явление как «свойство человеческого организма, в большей или меньшей степени развитое у разных людей, когда душа, высвобождаясь из уз тела, вступает в столь еще таинственную область сновидений» (*L'Intermédiaire des Chercheurs et des Curieux*, 10 мая 1906). В последующих номерах *Intermédiaire* разные корреспонденты описывают собственный опыт таких снов. В *Luce e Ombra* за июнь 1906 года и в *Echo du Merveilleux* за то же число, которых я не видел, приводятся и другие случаи.

[14] *Annals of Psychical Research*, ноябрь 1896.

Всю жизнь, как мне кажется, — во всяком случае с раннего возраста и до недавнего времени — мне время от времени снились сны, в которых я ритмично взлетал в воздух прыжками и держался в воздухе, оставаясь там заметное мгновение; в других случаях я чувствовал, что скольжу вниз по лестнице, не опираясь на ступени. У меня это переживание почти всегда приятно, сопряжено с неким чувством силы и обычно не вызывает особого удивления, являясь как знакомое и привычное удовольствие.

Проснувшись, я обычно не сразу вспоминаю эти сны, а это, по-видимому, указывает, что они вызваны не причинами, которые действуют именно в конце сна или способны его прервать. Но они оставляют после себя смутное и вместе с тем глубокое чувство уверенности в их действительности и разумности.

Следует заметить, что полет во сне обычно не похож на продолжительный полет птицы или насекомого, и спящий редко или никогда не воображает, будто его уносит высоко в воздух. Хатчинсон сообщает, что из всех, кого он об этом расспрашивал, «едва ли хоть один знал за собой высокие полеты во сне. Летают почти всегда низко, как бы скользя, чуть-чуть, но лишь чуть-чуть выше голов прохожих».[15]

[15] Хорас Хатчинсон. *Dreams and their Meanings*, с. 76.

Бони, по собственному опыту, описывает то, что я счел бы типичным видом полета во сне: ряд легких прыжков на высоте одного-двух ярдов над землей, причем каждый прыжок покрывает от десяти до двадцати ярдов, а сон сопровождается восхитительным ощущением легкости движения и живым удовлетворением от того, что удалось разрешить задачу передвижения по воздуху одним лишь превосходством своего телесного устройства.[16] Сходным образом Лафкадио Херн описывает в своих «*Тенях*» свой типичный и частый сон как ряд прыжков по длинным параболическим кривым, поднимающихся на высоту футов в двадцать пять и всегда сопровождаемых чувством, что открылась новая сила, которая отныне станет постоянным достоянием.

[16] *American Journal of Psychology*, июль — октябрь 1903, с. 14.

Попытки объяснить сны о полете привели к некоторым смелым гипотезам. Фрейд, верный себе, утверждает, что сон о полете —

мост к скрытому желанию.[17] Я уже упоминал мнение, будто полеты во сне — это странствия «астрального тела». Профессор Стэнли Холл, которому самому с детства снились сны о полете, с едва ли меньшей смелостью доказывает, что перед нами «какой-то слабый, напоминающий отзвук атавистического эха из первобытного моря» и что такие сны на деле суть пережитки — душевные рудименты, сравнимые с зачаточными жаберными щелями, нередко встречающимися у человека и других млекопитающих, — уводящие нас в далекое прошлое, когда предкам человека не нужны были ноги, чтобы плавать или держаться на воде.[18] Такая теория, быть может, согласуется с глубоким чувством действительности, сопровождающим эти сны, хотя его можно объяснить и проще; но у нее есть очень серьезный недостаток: она предлагает объяснение, которое не подходит к фактам. Нам снится полет, а не плавание; между тем предки млекопитающих жили, вероятно, в воде, а не в воздухе. Вместо столь рискованной теории бесконечно разумнее, по-видимому, считать эти сны истолкованием — с точки зрения бодрствующей жизни ложным истолкованием — действительных внутренних ощущений. Если мы можем найти достаточное объяснение душевного состояния в условиях, действительно существующих в самом организме в данное время, незачем искать объяснения в условиях, переставших существовать несчетные тысячелетия назад.

---

[17] «Желание уметь летать, — заявляет он (*Eine Kindheitserinnerung des Leonardo da Vinci*, с. 59), — означает во сне не что иное, как стремление быть способным к половой деятельности. Это желание раннего детства».

---

[18] Стэнли Холл, *American Journal of Psychology*, январь 1879, с. 158; также Ф. Э. Болтон, «Hydro-Psychoses», там же, январь 1899, с. 183; о зачаточных жаберных щелях — Бланд Саттон, *Evolution and Disease*, с. 48 и далее. Лафкадио Херн в поисках объяснения снов о полете заходит по этому пути еще дальше и вызывает

«память об исчезнувших планетах с более слабой силой тяготения», но не говорит, когда же предки человека населяли эти гипотетические планеты.

Мое собственное объяснение подсказал мне непосредственно следующий сон. Мне снилось, что я смотрю на девушку-акробатку в подобающем костюме, которая ритмично поднимается в воздух на большую высоту и затем падает, не касаясь пола, хотя каждый раз приближается к нему почти вплотную. Наконец она остановилась, изнемогшая и вспотевшая, и мне пришлось ее увести. Ее движениями не управлял никакой механизм, и, по-видимому, я и не считал механизм необходимым. Сон был яркий, и я проснулся с отчетливым ощущением стеснения в груди. Пытаясь объяснить этот сон, не основанный ни на каком воспоминании, я подумал, что, вероятно, держу здесь ключ к большой группе снов. Ритмичные подъемы и падения акробатки были просто объективацией ритмичных подъемов и опусканий моих собственных дыхательных мышц — а в некоторых снах, быть может, систолы и диастолы сердечной мышцы — под влиянием какого-то легкого и неведомого телесного стеснения, и это стеснение было вдобавок переведено в состояние потного изнеможения девушки — точно так же, как людям с болезнью сердца могут сниться взмыленные, тяжело дышащие лошади, взбирающиеся в гору, — в согласии с той склонностью к преувеличению, которая отличает сны вообще.[19] Можно вспомнить также любопытное ощущение, будто тело превращается в огромные мехи или паровую машину, которое часто бывает последним перед потерей сознания от закиси азота.[20] Когда мы лежим, грудь и живот действительно ритмично поднимаются и опускаются, и средоточие этого — диафрагма; это ряд колебаний, которые в обе стороны ограничены лишь воздухом. Кроме того, надо признать, что в этом положении

кровеносная, нервная и другие системы всего внутреннего организма уравновешены иначе, чем в стоячем положении, и что падение всегда сопровождается нарушением внутреннего равновесия.

[19] Я сохраняю изложение моего объяснения почти теми же словами, какими впервые записал его в 1895 году. Тогда я не знал, что несколько психологов уже предлагали очень сходные объяснения. Первым, кто связал легкие со снами о полете, был, по-видимому, Шернер (*Das Leben des Traumes*, 1861), хотя он изложил это объяснение в чересчур вольной, образной форме и не понял, что тут участвуют и другие факторы, прежде всего изменение давления на кожу. Позднее это объяснение признал Штрюмпель, а также Вундт.

[20] То же бывает и с хлороформом. «В области сердца возникают отчетливые ощущения, — говорит Элмер Джонс („The Waning of Consciousness under Chloroform", *Psychological Review*, январь 1909). — Мускулатура этого органа кажется сильно возбужденной, и сокращения становятся бурными и учащенными. Сердцебиение так же сильно, как в конце какого-нибудь напряженного телесного усилия». Знаменательно также для истолкования сна о полете, что под хлороформом «все совершаемые движения казались гораздо больше, чем были на самом деле. Легкое движение языка казалось увеличенным по меньшей мере в десять раз. Когда сжимаешь пальцы и снова разжимаешь их, возникает ощущение, будто они проходят расстояние в несколько футов».

Примечательно также (на что, впрочем, вкратце указал Вундт), что изменения, которые сон вносит в само дыхание, облегчают его истолкование как полета. Моссо показал, что во сне дыхание более грудное, чем наяву, что оно удлинено и что дыхательная пауза выражена слабее.[21] Иначе говоря, во сне усиливаются как воздушная сторона дыхания, так и само ритмичное движение ребер.

[21] См., например: Мария де Манасеина. *Sleep*, с. 7.

Что главный фактор снов о полете — дыхательный, ясно видно из того, что многие, кому снятся такие сны, проснувшись, ощущают некое расстройство дыхания или сердца. Я знаю одного психолога,

который, хотя видит сны нечасто, подвержен снам о полете; они не действуют на него неприятно, но, проснувшись после них, он всегда замечает легкое трепетание сердца. У меня такое ощущение бывает отнюдь не постоянно, но после подобного сна я изредка записывал его точно теми же словами.[22]

[22] Хорас Хатчинсон, который в своей книге *Dreams and their Meanings* (1901) независимо предположил, что «этот сон о полете вызывается каким-то действием органов дыхания», упоминает знаменательный факт (с. 128), что во снах о полете у многих людей возникает мысль набрать полную грудь воздуха, чтобы легче было подняться.

Стоит отметить в этой связи, как много людей, и особенно очень молодых, связывают свои сны о полете с лестницами. Самая частая причина возбуждения сердца и дыхания, особенно у детей, которые постоянно бегают по лестницам вверх и вниз, — это именно лестницы, и хотя у здорового человека это может быть незаметно, оно, несомненно, бессознательно запечатлевается и потому может быть использовано разумом во сне.

Есть, однако, и другой элемент, входящий в задачу ночного воздухоплавания, — состояние кожных ощущений. Одной дыхательной деятельности едва ли хватило бы, чтобы породить образы полета, если бы оставались ощущения осязательного давления, говорящие о соприкосновении с землей. Во сне, однако, ощущение движения, подсказываемое дыхательной деятельностью, не сопровождается осязательным давлением, которое создают башмаки или соприкосновение подошв с землей. Вдобавок к этому, вероятно, бывает еще, как предположил и Бергсон, онемение от давления на части тела, несущие его тяжесть. Сон — не постоянное и однородное состояние сознания; повышенное осознание дыхания легко может сосуществовать с пониженным осознанием осязательного давления вследствие

онемения кожи.[23] В нормальном сне условия, можно сказать, вероятно, нередко благоприятны для такого сочетания, и любое легкое расстройство в груди, даже у здоровых людей, исходящее от сердца или желудка и действующее на дыхание, доводит эти условия до спящего сознания и определяет сон о полете.

[23] Сходное состояние потери осязания бывает на ранних стадиях хлороформного опьянения. Так, Элмер Джонс обнаружил, что это чувство исчезает первым после слуха. «С исчезновением осязания и слуха, — замечает он, — тело совершенно теряет ориентировку. Кажется, что оно нигде, просто плавает в пространстве. Это ощущение величайшего блаженства».

Сны о полете иногда связаны со снами о падении, причем ощущение падения возникает либо в начале, либо в конце сна; такой сон можно назвать сном икарова типа.[24] Джуэлл считает, что у этих двух видов сна одна и та же причина, а разница между ними — лишь разница апперцепции. Частая связь между этими двумя снами указывает, что причины их родственны, но едва ли тождественны. Будь они тождественны, мы вряд ли находили бы, что чувство во сне о полете обычно приятное, а во сне о падении — обычно неприятное.[25]

[24] Лафкадио Херн описывает падение как приходящее в начале сна. Доктор Гатри (*Clinical Journal*, 7 июня 1899) в собственном случае описывает ощущения полета как приходящие первыми, а падение — потом, по-видимому из-за внезапного исчезновения способности летать; первая часть сна приятна, но после падения спящий просыпается потрясенным, испуганным и задыхающимся.

[25] Неприятный характер падения во сне, вероятно, можно связать с отсутствием ритма, который обычно присутствует во снах о полете. Большинство психологов, занимавшихся ритмом, настаивали на его приятной эмоциональной окраске, ведущей к состоянию, близкому к экстазу (см., например: Дж. Б. Майнер, «Motor, Visual, and Applied Rhythms», приложение-монография к *Psychological Review*, июнь 1903). Удовольствие особенно заметно, как замечает Макдугалл, когда есть «совпадение субъективной и объективной перемены». Во снах о полете мы имеем это совпадение: действительный субъективный ритм превращается в сознании в объективный ритм.

У меня нет личного опыта ощущения падения в обычном сне, хотя Джуэлл и Хатчинсон нашли, что оно встречается чаще, чем полет, причем последний считает его даже самым частым видом сна, а сон о полете следует за ним по частоте. Один мой друг, которому не снятся полеты, но который с самых ранних лет видит сны о падении, говорит мне, что они всегда сопровождаются чувством ужаса. Это наводит на мысль о телесной причине, а то, что ощущение падения может возникать при эпилептических припадках во сне,[26] еще более наводит на мысль о расстройстве кровообращения и нервной системы. По-видимому, вероятно, что хотя в обоих типах сна действуют одни и те же два фактора — дыхательный и осязательный, — сила их в каждом неодинакова. Во сне о полете дыхательная деятельность возбуждена и в ответ на возбуждение работает на высоком уровне, соответствующем нуждам организма. Во сне о падении, быть может, дыхательная деятельность угнетена, и одновременно, возможно, усилено онемение кожи. В первом состоянии необычная деятельность дыхания берет в сознании верх над сопутствующей притупленностью осязания; во втором состоянии дыхательная одышка влияет меньше, чем онемение кожи, не ощущающей никакого внешнего давления. Такая разница возможна потому, что во снах о полете мы обычно находимся недалеко от земли и как будто можем время от времени слегка касаться ее; иначе говоря, осязательная чувствительность ослаблена, но не исчезает совсем, как во сне о падении.[27]

[26] Фере. «Note sur les Rêves Épileptiques», *Revue de Médecine*, 10 сентября 1905.

[27] Сэр У. Р. Гауэрс не раз (например, «The Borderland of Epilepsy», *British Medical Journal*, 21 июля 1906) доказывал, что сны о падении имеют слуховое происхождение и вызываются сокращением стременной мышцы, ведущим к изменению в ампулах, которое может навести на мысль о спуске; сам он однажды

внезапно проснулся от такого сна и уловил звук мышечного сокращения. Мнение столь проницательного исследователя заслуживает внимания.

По моему собственному опыту, ощущение падения возникает лишь при болезни или под действием лекарств, иногда когда сон кажется неполным, и это ощущение неприятное, хотя и не ужасающее. Однажды я испытал его в самой отчетливой и стойкой форме, приняв большую дозу хлородина, чтобы унять боль. При таких обстоятельствах это ощущение, вероятно, вызвано тем, что морфий, содержащийся в хлородине, и ослабляет дыхательную деятельность, и вызывает онемение периферических нервов, так что кожа становится необычайно нечувствительной к соприкосновению с постелью и ее давлению, и неизбежно возникает ощущение спуска.[28] Возможно, что люди, подверженные снам о падении, предрасположены к такой стадии бессознательности во сне, при которой нечувствительность кожи бывает выражена. Возможно также, что тут участвует и легкое расстройство сердца или дыхания.[29]

[28] Такие ощущения действительно признаны следствием морфия. Морфинисты, замечает Горон (*Les Parias de l'Amour*, с. 125), склонны чувствовать, будто летят или парят над миром.

[29] Джуэлл сообщает, что «некоторые наблюдатели, особенно подверженные снам о падении или полете, определенно приписывают их плохому кровообращению и говорят, что их врачи, чтобы упорядочить работу сердца, давали им лекарства, которые всегда приносят им облегчение и предупреждают такие сны» (*American Journal of Psychology*, январь 1905, с. 8).

В одном сне, принадлежащем к этой группе, мне представилось, что молодая женщина ритмично раскачивает меня в воздухе вверх и вниз, причем ноги мои ни разу не касаются земли, а затем что я так же раскачиваю ее. В какой-то момент мне показалось, что она раскачивает меня слишком толчками и слишком торопливо, и я объяснил ей, что делать это надо медленнее и

размереннее, хотя не сознавал, какими именно словами я это сказал. Накануне у меня было легкое несварение, и, проснувшись, я ощутил небольшое неудобство в области сердца. Символизм, в который здесь превращено слегка нарушенное дыхание или работа сердца, в этом сне кажется очень ясным, потому что он показывает сам переход от субъективного ощущения к объективным образам полета. Посредством этих символических образов спящее сознание, как мы видим, приказывает торопливому сердцу биться здоровее.

Хотя в юности мои сны о полете были, можно сказать, нормального типа, примерно после тридцати пяти лет они стали, как показывает приведенный мною пример, принимать несколько объективную форму. Следующую ступень в этом направлении, когда качательное движение переносится на неодушевленный предмет, показывает сон сравнительно недавнего времени, в котором я как будто видел атлета из мюзик-холла, изящного и мускулистого мужчину, который управлялся с большим упругим мячом, заставляя его отскакивать от пола. Проснувшись, я ощутил отчетливую сердечную дрожь и нервное беспокойство.[30]

[30] Любопытное свидетельство в пользу дыхательного происхождения таких видений дают наблюдения Зильберера над его собственными символическими гипнагогическими видениями, которые, безусловно, родственны видениям сна. Он обнаружил (*Jahrbuch für Psychoanalytische Forschungen*, т. I, 1909, с. 523), что когда он делал глубокий вдох и тем приподнимал грудную стенку, ему представлялось, будто он вместе с другим человеком пытается поднять в воздух стол.

Может показаться странным, что сны о полете, если они так часто вызваны телесными расстройствами, обычно приятны по характеру. Однако нет необходимости предполагать, что они вызваны серьезным вмешательством в работу организма;

нередко они могут быть просто следствием такой стадии сознания, в которой дыхание стало чрезмерно заметным, как это бывает на ранней стадии наркоза закисью азота, — иначе говоря, следствием относительного бодрствования дыхательных центров. По-видимому, расстройство часто почти или совсем незаметно при пробуждении и никоим образом не сравнимо с более острыми телесными расстройствами, которые приводят к снам об убийстве, хотя оно может быть и нервного происхождения.[31] В некоторых случаях, однако, сны о полете, по-видимому, сопровождаются обстоятельствами, внушающими ужас. Так, один корреспондент-врач, который описывает свое здоровье как довольно хорошее, пишет о снах о полете: «Мне часто снились такие сны, и я задавался вопросом, бывают ли они у других. Впрочем, мои сны — не столько сны о полете, сколько сны о полном отсутствии веса, о том, что я поднимаюсь и опускаюсь по своей воле. Особенность этих снов о левитации в том, что они всегда сопровождаются сильным и мучительным страхом перед злым присутствием — присутствием, которого я не вижу, но как будто чувствую, и больше всего я боюсь, что я его *увижу*. Присутствие это смутно, но вполне реально, и в нем как будто заключена возможность всякого мыслимого нравственного, душевного и телесного зла. В этих снах мне всегда приходит на ум, что если это злое присутствие когда-нибудь воплотится во что-то, что я смогу увидеть, вид его будет так невыразимо ужасен, что сведет меня с ума. Этот страх бывал так силен, что несколько раз я просыпался в холодном поту или в безымянном страхе, который не проходил еще несколько минут после того, как я понимал, что это был только сон». По-видимому, это необычный тип сна о полете.

[31] Ж. де Гонкур (*Journal des Goncourt*, т. III, с. 3) упоминает, что, выпив портвейна, к которому он не привык, он видел сон, в котором замечал на своем одеяле причудливые выпуклые изображения, поднимавшиеся и опускавшиеся.

Несколько удивительно, что если сны о парении в воздухе столь обычны и ясно указывают на дыхательный источник сна, то сны о том, что плывешь по воде, по-видимому, редки: ведь действительный опыт того, как держишься на воде, довольно знаком, и можно было бы ожидать, что спящее сознание найдет объяснение своим ощущениям скорее здесь, чем в никогда не пережитом представлении о парении в воздухе. Сон о том, как плывешь по воде, впрочем, отнюдь не неизвестен; так, Рашильд (госпожа Валлетт), французская писательница и критик, чья жизнь во сне ярка и примечательна, сообщает, что самый приятный ее сон — это сон о том, как она плывет по поверхности теплых и прозрачных озер или рек.[32] Один из корреспондентов *L'Intermédiaire des Chercheurs et des Curieux*[33] также сообщает, что ему часто снилось, будто он ходит по воде.

[32] Шабане. *Le Subconscient*, с. 43.

[33] 30 мая 1906.

Ощущение полета испытывают не только во сне. При истерии попутно может возникать чувство особой легкости тела и мысль о способности души летать,[34] и это, безусловно, может быть связано как с вигиламбулизмом, как Солье называет склонность таких больных к состояниям, подобным сну, так и с онемением, которое бывает у истерических больных. Примечательно, что Жане обнаружил у одной особы, впадавшей в экстаз и испытывавшей ощущение подъема в воздух, нечувствительность подошв. Хорошо известно, что в таком экстазе истерической природы, который всегда играл столь большую роль в религиозной жизни, часто

отчетливо проявлялось чувство подъема и парения в воздухе. Святая Тереза порой чувствовала, что поднимается над землей, и боялась, как бы этот знак божественной милости не привлек к ней внимания (хотя нам не сообщают, чтобы так и случилось), а святому Иосифу Купертинскому, Христине Дивной, святой Иде Лувенской и многим другим святым, чьи жития вошли в *Acta Sanctorum*, было дано испытать это ощущение; и так как в состоянии экстаза его действительность столь же убедительна, как во сне, святые нередко могли совершенно чистосердечно заявлять, что их левитация была действительной.[35]

[34] Л. Бинсвангер. «Versuch einer Hysterieanalyse», *Jahrbuch für Psychoanalytische Forschungen*, т. I, 1909.

[35] Их слову нередко верили. Левитацию, которую испытывали святые, изучал полковник А. де Роша: *Les Frontières de la Science*, 1904; также в *Annales des Sciences Psychiques*, январь — февраль 1901. «Левитация — вполне реальное явление, — заключает он, — и гораздо более частое, чем мы могли бы сначала подумать».

Во всех больших религиозных движениях среди народов простого уклада жизни бывают сходные явления, наряду с другими нервными и галлюцинаторными проявлениями. Они наблюдались, например, во время большого религиозного движения, охватившего крестьян Киевской губернии зимой 1891–1892 года. Вождь этого движения, набожный член секты штундистов, человек с наследственностью, отягощенной алкоголизмом, которому было откровение, что он — спаситель мира, не только ощущал благоухания столь изысканные, что они, как он был убежден, могли исходить лишь от Святого Духа, но во время молитвы вместе с чувством радости испытывал также ощущение телесной легкости и парения в воздухе. Многие его последователи испытывали то же самое и с радостью подпрыгивали в воздух и кричали. В этих случаях было доказано,

что притупленная чувствительность кожи действительно входит в эти проявления: Сикорский, которому довелось изучать этих людей, обнаружил, что многие из них в состоянии экстаза совершенно не чувствовали боли.

Ощущение полета — одно из самых ранних, появляющихся в снах детства.[36] Порой это последнее ощущение в миг смерти. Подниматься, падать, уплывать — нередко таково было последнее сознательное ощущение, которое вспоминали люди, казалось бы умиравшие, но потом возвращенные к жизни. Спасенные утопающие, например, иногда обнаруживали, что последним сознательным ощущением было блаженное чувство, будто их несет вверх. Пьерон тоже отметил это ощущение в миг смерти от болезни в ряде случаев, обычно сопровождавшееся чувством благополучия.[37] Описанные им случаи были по большей части туберкулезными и включали людей обоего пола, как неверующих, так и верующих. У всех последним ощущением, которое они успели выразить, было ощущение полета, движения вверх. У одних смерть была спокойной, у других мучительной. В одном случае девушка умерла, вцепившись в железные прутья кровати, в ужасе от того, что ее уносит вверх. Пьерон, несомненно справедливо, связывает это ощущение со сходным ощущением подъема и парения, обычным во сне, и с чувством движения вверх и опоры на воздух, которое испытывают люди в состоянии экстаза. Во всех этих случаях одинаково жизнь сосредоточивается в мозгу и центральных органах, тогда как отдаленные области тела немеют и омертвевают.

[36] С возрастом, после середины жизни, оно, по-видимому, становится реже. Бони сообщает, что у него оно прекратилось в пятьдесят лет. У меня оно исчезло или стало редким в несколько более раннем возрасте.

[37] А. Пьерон. «Contribution à la Psychologie des Mourants», *Revue Philosophique*, декабрь 1902.

Так и выходит, что из снов и из сноподобных состояний бодрствования выросло одно из самых стойких духовных представлений человечества. Парить, подниматься в воздух, взлетать на небо — это всегда казалось человеку высшей вершиной духовной деятельности. Ангел — самое бесплотное существо, какое способно вообразить человеческое воображение. Возглас Браунинга, обращенный к его «лирической любви, полуангелу и полуптице», как поэзия, может быть, и не безупречен, но как психология верен. Пророки и божественные герои человечества постоянно представлялись своим благочестивым последователям исчезающими под конец, возносясь в небо, подобно Илии, который «вознесся в вихре на небо». Святому Петру однажды показалось, что он видит своего Учителя идущим по волнам, а последнее видение Иисуса в Евангелиях являет его поднимающимся в воздух. Ибо в мире сновидений у человеческой души неразрушимый дом, и в стремлении воплотить эти сны заключена немалая часть нашего дела в жизни.

ГЛАВА VII. СИМВОЛИЗМ СНОВИДЕНИЙ

✦

Драматизация субъективных ощущений на почве диссоциации — Сходные явления в бодрствующей жизни — Синестезии и числовые формы — Символизм в языке — В музыке — Телесная основа символизма сновидений — Всесилие символизма — Снотолкование — Научное толкование снов — Почему во сне господствует символизм — Теория сновидений Фрейда — Сны как исполненные желания — Почему эту теорию нельзя приложить ко всем снам — Полная форма символизма во сне — Расщепление личности — Самообъективация в воображаемых лицах — Драматическое начало сновидений — Галлюцинации — Множественная личность — Душевная болезнь — Самообъективация как древнейшая склонность — Ее сохранение в цивилизации.

Говоря о снах о полете, я упомянул сон, в котором легкое нарушение работы сердца было превращено спящим сознанием в образ атлета, управляющегося с упругим мячом. Эта объективация того, что на деле есть субъективные ощущения спящего, хотя он и не сознает их как субъективные, — явление, с которым мы уже не раз встречались. Однако это столь важная черта психологии сновидений и, вероятно, имеет столь значительный вес по своему влиянию на бодрствующую жизнь, что стоит рассмотреть ее отдельно.

Драматизация субъективных элементов личности, которая так много делает для того, чтобы наши сны были яркими и занимательными, основана на той диссоциации, или распадении составных групп душевных центров, которая составляет столь основной факт жизни во сне. Иначе говоря, обычно связные

элементы нашей душевной жизни расщепляются, и некоторые из них — часто, любопытно заметить, именно те, что в этот самый миг наиболее заметны и остры, — заново слагаются в то, что кажется нам внешним и объективным миром, в котором мы — заинтересованные или просто любопытные зрители, но ни в том, ни в другом случае не понимаем, что источник его — мы сами.

Один из простейших источников этой склонности к объективации, можно заметить, кроется в автоматическом стремлении к символизму, благодаря которому всевозможные чувства, испытываемые спящим, превращаются в конкретные зримые образы. Когда объективация достигается таким путем, диссоциацию можно назвать вторичной. Насколько я способен разобрать процесс сновидения, склонность к символизму, по-видимому, почти всегда предшествует диссоциации в сознании, хотя вполне может быть, что диссоциация душевных элементов есть необходимое подсознательное условие символизма.

Чувственный символизм опирается на весьма основную душевную склонность. С необычной стороны мы встречаем его в синестезиях, которые с тех пор, как Гальтон впервые обратил на них внимание в 1883 году в своих «Исследованиях человеческих способностей», стали хорошо известны и встречаются у шести, а то и более чем у двенадцати процентов людей. Гальтон исследовал главным образом те виды синестезий, которые он назвал «числовыми формами» и «цветовыми ассоциациями». Числовая форма свойственна тем, кто почти неизменно представляет себе числа в каком-либо более или менее постоянном зрительном образе, причем число мгновенно вызывает картину. У людей, испытывающих цветовые ассоциации, или цветной слух, точно так же мгновенно возникают определенные цвета в связи с определенными звуками:

различные гласные, например, каждая постоянно и неизменно вызывают определенный оттенок — *a* белый, *e* киноварный, *i* желтый и т. д., — причем нет двух людей с совершенно одинаковой цветовой гаммой звуков.[38] Эти явления не так уж редки и, хотя их следует считать отклонением от нормы, встречаются у людей совершенно здоровых и душевно здравых.

[38] См., например: Гальтон. *Inquiries* (издание Everyman's Library), с. 79–112. Из более поздних работ на эту тему можно назвать: Блейлер, статья «Secondary Sensations» в *Dictionary of Psychological Medicine* Тьюка; Суарес де Мендоса, *L'Audition Colorée*; Жюль Милле, *Audition Colorée*; и особенно полезный обзор Клавьера, «L'Audition Colorée», *L'Année Psychologique*, пятый год, 1899. Случай слухового вкуса описан А. М. Пирсом, *American Journal of Psychology*, 1907. Можно отметить, что Борис Сидис доказывал (*Psychological Review*, январь 1904), что все галлюцинации по своей природе — вторичные ощущения.

Как видим, синестезия — которая может затрагивать вкус, обоняние и другие чувства помимо слуха и зрения — заставляет впечатление одного чувственного порядка автоматически и непроизвольно присоединяться к впечатлению совсем иного порядка. Иными словами, можно сказать, что одно впечатление становится *символом* другого, ибо символ — что буквально значит «брошенное вместе» — означает, что две вещи разных порядков так связались, что одну из них можно считать знаком и представителем другой.

Есть, однако, и другая, еще более естественная и основная форма символизма, вполне нормальная и даже, можно сказать, почти физиологическая. Это склонность, в силу которой качества одного порядка становятся символами качеств совсем иного порядка, потому что инстинктивно кажется, будто они действуют на нас сходным образом. Так вещи телесного порядка становятся символами вещей порядка духовного. Этот символизм пронизывает весь язык; уйти от него мы не можем. Море *глубоко*

— глубокими бывают и мысли; лед *холоден* — то же мы говорим об иных сердцах; сахар *сладок* — и влюбленному сладко присутствие любимой; хинин *горек* — горько и раскаяние. Не только наши прилагательные, но и существительные и глаголы так же символичны. Для глаза этимолога каждое предложение полно метафор, символов, образов, которые в строгом и исконном смысле выражают чувственные впечатления одного порядка, а в нынешнем употреблении выражают впечатления совсем иного порядка. Язык во многом есть использование символов. Это общепризнанный факт, который незачем развивать.[39]

[39] Ферреро в своей книге *Lois Psychologiques du Symbolisme* (1895) широко рассматривает символизм в человеческой мысли и жизни.

Любопытный пример естественной склонности к символизму, который можно сравнить с родственной склонностью сновидения, дает другой язык — язык музыки. Музыка есть изображение мира — внутреннего или внешнего, — которое, за исключением тех случаев, когда она стремится воспроизвести действительные звуки мира, может быть выразительной лишь благодаря своему символизму. А символизм музыки столь ярко выражен, что сказывается даже в таком первичном факте, как высота звука. Наш ум устроен так, что бас всегда кажется нам *низким*, а дискант *высоким*. Нам кажется несообразным говорить о *высоком* басе или *низком* сопрано. Трудно избежать вывода, что эта и подобные связи имеют глубокое основание; что существуют, как выразил это тонкий французский философ, изучающий музыку, Дориак (в очерке «Des Images Suggérées par l'Audition musicale»[40]), «чувственные соответствия», о чем, впрочем, давно уже догадывался Бодлер;[41] что двигательный образ — тот, который требует от слушателя наименьшего усилия; и что музыка почти постоянно вызывает двигательные образы.[42]

[40] *Revue Philosophique*, ноябрь 1902.

[41] «Richard Wagner et Tannhäuser» в *L'Art Romantique*.

[42] Двигательные образы, которые подсказывает музыка, у некоторых людей обильны и, по-видимому, прихотливы, и их можно считать отклонением, сравнимым с синестезией. Примером тому был Гейне, который описал во «*Флорентийских ночах*» видения, вызванные игрой Паганини, а в другом месте — видения, вызванные в нем музыкой Берлиоза. Хотя сам я этого явления не испытываю, я заметил, что музыка порой склонна пробуждать мысли о двигательных образах; так, некоторые мелодии Генделя наводят на образ великана, пишущего фрески на огромной стене. Самая простая двигательная связь музыки видна в склонности многих людей покачивать частями тела — «отбивать такт» — в лад с музыкой. (Это явление изучено опытным путем Дж. Б. Майнером: «Motor, Visual, and Applied Rhythms», приложение-монография к *Psychological Review*, т. V, № 4, июнь 1903.) Музыка по самой своей сути — слышимый танец, и самая древняя музыка — музыка танцевальная.

Связь между высокими нотами и подъемом тела, между низкими нотами и его спуском, во всяком случае, очень устойчива.[1] В «Лоэнгрине» Вагнера так обозначены восхождение и нисхождение хора ангелов. Если обратиться даже к ранним композиторам, мы найдем то же соответствие. У Перселла оно совершенно отчетливо. У Баха — как ни принято считать его музыку чистой и отвлеченной — встречается не только эта простейшая связь, но и огромное множество двигательных образов; Бах, по сути, с любопытным упорством переводит определенный смысл слов, которые он передает музыкой, на соответствующий музыкальный язык; мастерство и тонкость, с какими он это делает, как показали Пирро и Швейцер, часто способен оценить лишь музыкант.[2] Иногда говорят, что это «реализм» в музыке. Это ошибка. Когда впечатления одного чувства переводятся на язык другого, о реализме речи быть не может. Композитор может попытаться реалистически изобразить

гром, но молнию он может изобразить лишь символически: слышимая молния никогда не будет реалистичной.

[1] Насколько инстинктивна эта склонность, видно из того, что она сохраняется даже во сне. Так, Вейгандт рассказывает, что однажды заснул в театре во время одной из последних сцен «Сельской чести», когда тенор пел все выше и выше, и ему приснилось, что, чтобы достать эти ноты, певец взбирается на сцене по лестницам и ступеням.

[2] См. прежде всего привлекательную книгу Андре Пирро *L'Esthétique de J. S. Bach* (1907), а также: Альберт Швейцер, *J. S. Bach* (1908), особенно главы XIX–XXIII. «Вещи конкретные, — пишет Эрнест Ньюмен, подытоживая некоторые из этих выводов (*Nation*, 25 декабря 1909 г.), — непрестанно наводили Баха на отвлеченные мысли или внутренние настроения, и наоборот. Он раз за разом пользовался одной и той же музыкальной формулой для одного и того же слова или мысли. Сперва он передает внешние понятия „высокого" и „низкого", как делали и другие композиторы, высокими или низкими нотами, а движение вверх или вниз — восходящими или нисходящими темами. Но с внешней, предметной вещью Бах соотносит целый ряд вещей чисто субъективных. Так, подъем или упадок духа для него — душевные соответствия телесных действий: подъема и спуска. Поэтому он дает целый ряд восходящих тем к словам, выражающим, так сказать, „восходящие" состояния духа, — гордость, мужество, силу, решимость, — и нисходящих тем к словам, выражающим „нисходящие" состояния, — изнеможение, поклонение, уныние, упадок сил, скорбь о грехе, смирение, бедность, усталость и болезнь. Для двух рядов понятий, внутренних и внешних, он пользуется одними и теми же музыкальными символами. Чтобы передать телесное понятие „окружать", он прибегает к кружащей или волнообразной теме. Корона или венок наводят его на ту же мысль, и для них он тоже берет тему того же рода. Но соответствие идет еще дальше: дойдя до слова „размышлять", он снова прибегает к тому же извилистому музыкальному символу — размышлять для него значит оглядываться во все стороны. Слово чисто внешнего значения, наводящее на мысль о чем-то скрученном, получит соответственно скрученную тему. Затем следуют субъективные применения темы: тот же беспорядочный мелодический рисунок выражает такое состояние духа, как тревога или смятение, или изображает козни сатаны. Внимательное изучение вокальных сочинений Баха, и особенно кантат, открыло множество таких любопытных символов». Весь этот предмет, можно добавить, кратко и содержательно разобран у Гобло: «La Musique Descriptive», *Revue Philosophique*, июль 1901 г.

Существует не только инстинктивная и прямая связь между звуками и двигательными образами, но и косвенная, однако столь

же инстинктивная связь между звуками и зрительными образами, которые, не будучи сами двигательными, имеют двигательные ассоциации. Так, Блейлер считает твердо установленным, что у людей с цветным слухом светлые по цвету фотизмы (принадлежащие, можно сказать, к «высокой» части спектра) обычно вызываются высокими звуками, а темные фотизмы — низкими; точно так же резко очерченные боли или осязательные ощущения, а также заостренные формы вызывают светлые фотизмы. Подобным же образом яркий свет и заостренные формы вызывают высокие фотизмы, тогда как низкие фотизмы вызываются противоположными условиями. Урбанчич, обследовав большое число людей без цветного слуха, обнаружил, что высокая нота камертона кажется выше, когда смотришь на красный, желтый, зеленый или синий цвет, и ниже — когда смотришь на фиолетовый. Таким образом, два чувственных качества, каждое из которых символизирует третье, символизируют и друг друга.

У нас есть основание думать, что этот символизм опирается на глубинные склонности организма. Пидерит почти полвека назад убедительно доказывал, что наши самые духовные чувства и мысли действительно связаны с определенными движениями тела и выражениями лица. Подобным же образом он указывал, что горький вкус и горькие мысли вызывают одно и то же внешнее выражение.[3] Он доказывал также, что характер облика человека — неподвижный или мечтательный взгляд, живые или скованные движения — соответствует подлинным душевным свойствам. Если это так, то у символизма есть физиологическая, почти анатомическая основа. Клеланд[4] в очерке «О начале символического соотнесения в выражении» также доказывал, что ключ к большой части выразительных движений — в

соотнесении движений и положений с мыслями, так что в человеческом уме существует, например, множество связей, по которым «вверх» означает доброе, великое и живое, а «вниз» — злое и мертвое. Такие связи настолько глубоки, что встречаются даже у животных, чьи жесты, как заметил Фере,[5] часто метафоричны: кошка, например, после всякой неприятности встряхивает лапой, будто коснулась воды.

[3] Т. Пидерит, *Mimik und Physiognomik*, 1867, с. 73.

[4] Дж. Клеланд, *Evolution, Expression and Sensation*, 1881.

[5] Фере, «La Physiologie dans les Métaphores», *Revue Philosophique*, октябрь 1895 г.

Символизм, которым сегодня пронизан наш язык, да и вся наша жизнь, по большей части унаследован нами вместе с преданиями цивилизации от столь древней поры, что обычно мы уже не умеем его истолковать. То немногое, что мы прибавляем к нему в обычной повседневной жизни, большей частью прибавлено сознательно и намеренно. Но стоит нам опуститься ниже этого обычного уровня или подняться выше него — к безумию и галлюцинации, к детству, к первобытному укладу, к народным поверьям и легендам, к поэзии и религии, — и мы тотчас погружаемся в море символизма.[6] Есть даже нормальная область, где символизм получает полный простор, — это мир сновидений.

[6] Медер разбирает символизм в некоторых из этих областей в статье «Die Symbolik in den Legenden, Märchen, Gebräuchen und Träumen», *Psychiatrisch-Neurologische Wochenschrift*, № 6 и 7, май 1908 г.

Онейромантия — символическое толкование снов, особенно как способ узнать будущее, — широко распространенное искусство на ранних ступенях культуры. В Ветхом Завете разгадывание снов предстает делом очень серьезным и тревожным (как в истории со сном фараона о тучных и тощих коровах), а ближе к нашему

времени сны великих героев, особенно Карла Великого, изображаются в средневековых европейских эпосах как события огромной важности. Небольшие сонники всегда высоко ценились в простом народе, и среди ходячих поговорок у нас немало изречений о значении тех или иных снов, о добрых или дурных приметах, которые они несут.

Так онейромантия постепенно перешла в народные поверья и приметы. Но вначале она обладала отчасти достоинством и религии, и науки сразу. Древние толкователи снов не только внимательно отмечали значение и последствия отдельных снов, чтобы сложить из них стройное учение, но и считали, что не всякий сон несет в себе божественную весть: так, они не снисходили до толкования снов, приснившихся после вина, ибо, говорили они, лишь умеренным открывают боги свои тайны.[7] Насколько серьезно и обстоятельно подходили к толкованию снов, хорошо видно по трактату об этом предмете Артемидора Далдианского, уроженца Эфеса и современника Марка Аврелия.[8] Он делил сны на два класса: теорематические, которые сбываются буквально, и аллегорические. Первая группа, можно сказать, соответствует нынешним группам вещих и предваряющих, или продромальных, снов, а вторая включает символические сны, которые в последние годы снова привлекли к себе внимание. Синезий, живший в IV веке и ставший в конце концов христианским епископом, не перестав до конца быть греком-язычником, написал весьма замечательный трактат о сновидениях, в котором с подлинно греческой живостью ума сумел осмыслить разумом и едва ли не осовременить древнее учение о символике снов. Он признает, что истина снов кроется именно в их темноте и что не следует ждать каких-либо общих правил для снов: нет двух одинаковых людей, а потому один и тот

же сон не может значить одно и то же для каждого, и нам приходится самим отыскивать правила собственных снов. Ему самому (как и Галену) сны часто помогали в писательстве: приводили в порядок его мысли, улучшали слог, указывали, какие обороты слишком пышны. А однажды, в те дни, когда он охотился, он по сну изобрел ловушку. Синезий утверждает, что внимание к гаданию по снам полезно уже по одним нравственным причинам. Ибо тот, кто делает свое ложе дельфийским треножником, будет стараться жить чисто и благородно. Так он придет к цели более высокой, чем та, к которой стремился.[9]

[7] Так у Филострата; и Плиний («Естественная история», кн. X, гл. CCXI) приводит ту же мысль на несколько более естественных основаниях.

[8] Его перевел Ф. С. Краус: *Symbolik der Träume*, 1881.

[9] Перевод «Трактата о сновидениях» Синезия помещен в издании Дрюона *Œuvres de Synésius*, с. 347 и далее. Нынешним английским читателям Синезий, вероятно, лучше всего знаком по роману Чарльза Кингсли «Ипатия». Его трактатом о снах незаслуженно пренебрегают, хотя он чрезвычайно пришелся по душе ищущему уму лорда Монбоддо, который даже говорит об этом трактате (*Ancient Metaphysics*, т. II, 1782, с. 217): «Право, мне кажется, что со времен Платона и Аристотеля не было философа глубже Синезия».

Сегодня кажется вполне вероятным, что среди многого произвольного в народной онейромантии есть и кое-что действительно значимое. Однако до последних лет эта произвольность отпугивала научного исследователя. Едва ли не единственным исследователем психологии сновидений, решившимся признать в мире снов подлинный символизм, был Шернер,[10] но его доводы обычно не принимали, да и принять их было нелегко. Когда речь заходит об определенных и постоянных символах, скептицизм и поныне часто бывает уместен. Но нет ни малейшего сомнения в том, что наши сны полны символизма.[11]

[10] К. А. Шернер, *Das Leben des Traumes*, 1861. Во Франции Эрве де Сен-Дени в замечательном анонимном сочинении, которого я не видел (*Les Rêves et les Moyens de les Diriger*, с. 356; цит. по: Вашид и Пьерон, *Psychologie du Rêve*, с. 26), осторожно выдвинул символическую теорию снов как возможную соперницу теории, согласно которой постоянные ассоциации складываются из первого случайного совпадения. «Не существует ли, — спрашивал он, — странных аналогий внутренних ощущений, в силу которых определенные колебания нервов, определенные инстинктивные движения наших внутренностей соответствуют ощущениям, по видимости совсем иным? Согласно этой гипотезе, опыт выявил бы таинственное сродство, знание которого могло бы стать настоящей наукой; … и подлинный ключ к снам не был бы недостижимым делом, если бы мы смогли собрать и сопоставить достаточное число наблюдений».

[11] Любопытно отметить, что и галлюцинации могут быть символическими. Так, Комитет по галлюцинациям Общества психических исследований выделил символическую группу и записал, например, случай человека, который, когда его ребенок лежал при смерти, увидел в воздухе голубое пламя и услышал голос: «Это его душа» (*Proceedings of the Society for Psychical Research*, август 1894 г., с. 125).

Условия жизни во сне, по сути, с особой легкостью благоприятствуют образованию символизма, то есть образов, которые, будучи вызваны определенным раздражителем, сами принадлежат к совершенно иному порядку, чем этот раздражитель. Уже то, что мы спим, — то есть что пути чувств, которые в обычном состоянии доставили бы подлинный образ того же порядка, что и раздражитель, более или менее закрыты, — делает символизм неизбежным.[12] Поскольку прямые каналы во многом засорены, в игру вступают другие, родственные и параллельные ассоциации, а так как власть внимания и апперцепции ослаблена, эта игра часто идет беспрепятственно. Символизм — естественное и неизбежное следствие этих условий.[13]

[12] Медер утверждает, что склонность к символизму в снах и подобных видах душевной деятельности объясняется «смутным мышлением в состоянии

ослабленного внимания». Это, однако, недостаточное определение, и оно упускает главное.

[13] В других областях, где символизм проявляется сильнее всего, существуют те же или родственные условия. При галлюцинациях, которые (как показали Пэриш и другие) возникают обычно в гипнагогических или сходных со сном состояниях, условия явно те же. Символизм искусства, и особенно музыки, вытекает из самих условий этого искусства, исключающих обращение к другим чувствам. Ум древнего человека приходит к символизму через сходное положение вещей — как следствие недостатка знаний и неразвитой еще способности к апперцепции. При душевной болезни эти способности болезненно нарушены или разрушены, и следствие то же.

Можно еще спросить, почему во сне мы не чаще узнаем действительный источник воздействующих на нас раздражений. Если ноги спящего касаются чего-то горячего, казалось бы естественнее, чтобы он подумал о настоящей грелке, а не о воображаемой Этне, а услышав звон в ушах, заключил бы о присутствии настоящей птицы, которую часто слышал, а не об исполнении «Сотворения мира» Гайдна, которого никогда не слышал. Здесь, однако, надо вспомнить о склонности образов сна к преувеличению — склонности, которая коренится в эмоциональности сновидений. Чувство во сне обычно обострено. Всякое впечатление доходит до спящего сознания сквозь эту эмоциональную атмосферу, в увеличенном виде — быть может, более смутном, но более массивном. Таким образом, спящий мозг имеет дело не с действительными впечатлениями — если мы вправе называть впечатления бодрствования «действительными», — даже когда на него действуют действительные впечатления, а с впечатлениями преображенными. Задача, стоящая перед ним, — найти соразмерную причину не для действительного впечатления, а для преображенного и увеличенного. При таких обстоятельствах символизм совершенно неизбежен. Даже когда природа

раздражения распознана верно, его качество верно распознано быть не может. Спящий может понять, что его кусают, но массивное и глубокое впечатление укуса, доходящее до его спящего сознания, не нашло бы соразмерного объяснения в предположении о настоящем комаре, который его причиняет; единственное соразмерное объяснение полученного преображенного впечатления находится (как в одном сне, о котором уже шла речь) в существе величиной с омара. Это существо — символ настоящего комара.[14] То же явление мы наблюдаем в отчасти сходных условиях при опьянении хлороформом и закисью азота.

[14] Преувеличение, которое мы испытываем во сне, проявляется в эмоциональной стороне снов и в эмоциональном преображении действительных чувственных раздражений, идущих извне или изнутри организма. Размер предметов, вызванных памятью во сне, обычно остается неизменным, а если меняется, то, по-видимому, чаще уменьшается. «Лилипутские галлюцинации», как назвал их изучавший их Леруа (*Revue de Psychiatrie*, 1909, № 8), при которых видятся крошечные, нередко цветные человечки, могут иногда возникать также при отравлении алкоголем и хлоралом, при циркулярном психозе и при различных других болезненных душевных состояниях. Обычно они приятны по характеру.

Затемнение во сне внешних чувственных каналов, а значит, и утрата той проверки, которой они подвергают ложные выводы, само по себе еще недостаточно, чтобы объяснить символизм снов. Действует и диссоциация мышления во сне, с сопутствующим ослаблением внимания и апперцепции. Преувеличение отдельных обособленных чувственных впечатлений в сознании спящего связано с общей притупленностью, даже полным покоем внешнего чувственного механизма. Одна часть организма — и, по-видимому, обычно какой-либо внутренний орган — склонна поэтому раздувать свое место в сознании за счет остального. Как говорят Вашид и Пьерон, во сне «внутренние ощущения

развиваются за счет периферических». В этом, видимо, и кроется тайна огромного эмоционального смятения наших снов. Но крайне редко эти внутренние ощущения доходят до спящего мозга такими, каковы они есть. Они осознаются не как буквальные вести, а как символические преображения. Возбужденное или натруженное сердце вызывает в мозгу не воспоминание о себе, а некий символический образ возбуждения или труда. Ассоциация здесь есть, но она идет не по трезвым путям нашей обычной цивилизованной жизни наяву, а по гораздо более глубинным и древним руслам, которые наяву мы уже оставили или никогда не знали.

Можно выдвинуть еще одно соображение, объясняющее одну группу символов сна. Обнаружено, что некоторые давние истерические больные в гипнотическом состоянии способны получать мысленные картины собственных внутренних органов, даже если совершенно ничего не знают об их форме. Эту аутоскопию, как ее назвали, особенно изучали Фере, Комар и Солье.[15] Истерия — состояние, во многом близко родственное сну, и если принять как действительный факт, что аутоскопия иногда наблюдается в необычном душевном состоянии гипнотического сна у истеричных, то позволительно спросить, не бывает ли она иногда и в норме — в родственном состоянии обычного сна. Известно, что в гипнотическом состоянии части организма, в норме непроизвольные, могут подчиняться воле; не так уж невероятно, что подобным же образом части, в норме нечувствительные, могут стать достаточно чувствительными, чтобы открыть собственную форму или состояние. Так, пожалуй, легче понять те предупреждающие сны, в которых спящий осознает болезненные состояния, не ощутимые для бодрствующего сознания, пока они не достигнут большей силы.[16]

[15] Солье, «L'Autoscopie Interne», *Revue Philosophique*, январь 1903 г. Солье разбирает возражения против действительности этого явления.

[16] «Многим людям, — пишет д-р Мария де Манасеина (*Sleep*, 1897, с. 294), — когда им грозит желудочное или кишечное расстройство, снится, будто они видят рыб. Покойный профессор Сергей Боткин говорил мне, что замечал это совпадение у себя, и я сама несколько раз находила его у одной хорошо знакомой мне молодой девушки. Некоторые предполагали, что спящее сознание получает впечатление удлиненной формы желудка или кишечника; но такое предположение легче сделать, чем доказать». Шернер связывал сны о рыбах с ощущениями, идущими от мочевого пузыря, и здесь тоже можно сказать, что речь идет о внутреннем органе, похожем на рыбу. Гринвуд (*Imagination in Dreams*, с. 195) рассказывал, что всю жизнь, с промежутками в месяцы или годы, видел повторяющийся сон: реку, кишащую рыбой, которая в конце концов сваливалась в жуткую, исходящую испариной груду; этот сон всегда оставлял чувство «тягостного ужаса», но причину и смысл его он так и не смог установить.

Понимание того, что во сне внутренние ощущения превращаются в символические двигательные образы, восходит к древности. Гиппократ говорил, например, что сны о родниках и колодцах указывают на какое-то расстройство мочевого пузыря. В таком случае расстроенный пузырь посылает в мозг не голую весть о своих нуждах, а символическую весть о них в двигательных образах — например (в одном известном мне случае), образ большого водоема, из которого вытекает поток воды.[17] Иногда символизм, вызванный процессами во внутренних органах, остается физиологическим: так, несварение часто ведет к снам о еде — например, о жевании всевозможных несъедобных и противных веществ, — а иногда, по-видимому в более необычных случаях, и к приятным снам о еде.

[17] Фрейд пишет (*Die Traumdeutung*, с. 233), что знает случай, в котором (как в Песни песней) колонны и столпы являются во сне символами ног, а двери — символами отверстий тела.

Гению профессора Зигмунда Фрейда из Вены — ныне самого смелого и самобытного психолога в области болезненных

душевных явлений — мы обязаны тем, что наконец признано большое место символизма в сновидениях, так долго остававшееся без внимания. Шернер выступал в защиту этой стороны снов, но он был психологом малоизвестным, выводы его не всегда были надежны, и его доводы не получили влияния. Фрейд объявляет себя сторонником теории снов Шернера и противником всех прочих теорий,[18] но его разбор предмета несравненно глубже и проницательнее. Однако Фрейд идет гораздо дальше основного — и, как я полагаю, неоспоримого — положения, что образы сна в большой мере символичны. Он считает, что за символизмом снов в конечном счете стоит желание; более того, он полагает, что это желание, как правило, носит более или менее половой характер и что, кроме того, оно окрашено элементами, восходящими к раннему детству спящего. Механизм сновидения, как его видит Фрейд, далеко не просто беспорядочная умственная деятельность, а (во многом так же, как он доказывал и об истерии[19]) следствие желания, которое оттеснено своего рода торможением, или цензурой (то есть той нравственной уздой, которая наяву еще бдительнее), и ищет новых форм выражения. Прежде всего в сновидении идет процесс, который Фрейд называет сгущением (*Verdichtung*), — тот процесс слияния отдельных элементов, который приходится признать в начале всякого рассуждения о сновидениях; но Фрейд утверждает, что при этом слиянии у всех элементов есть общая точка и они накладываются друг на друга, как снимки в составной фотографии Гальтона. Затем следует процесс смещения, или переноса (*Verschiebung*), посредством которого подлинная, центральная и эмоциональная основа сна скрывается под мелочами. Затем — процесс драматизации, или превращения в конкретную ситуацию, элементы которой имеют символическое

значение. Так, по словам Медера, излагающего взгляды Фрейда, «за кажущимися незначительными событиями дня, которые использованы во сне, всегда скрыта важная мысль или событие. Нам снится только то, что того стоит. То, что на первый взгляд кажется пустяком, — это серая стена, за которой скрывается большой дворец. Смысл сна заключен не столько в самом сне, сколько в той его подпочве, которая не перешла порога и которую может вывести на свет только анализ».

[18] Фрейд, *Die Traumdeutung*, с. 66. Этот труд, вышедший в 1900 г., — главное и самое полное изложение взглядов Фрейда. Более краткое изложение содержится в небольшой книжке серии «Grenzfragen»: *Über den Traum*, 1901. Краткий очерк позиции Фрейда дает д-р А. Медер из Цюриха в статье «Essai d'Interprétation de Quelques Rêves», *Archives de Psychologie*, апрель 1907 г.; а также Эрнест Джонс («Freud's Theory of Dreams», *Review of Neurology and Psychiatry*, март 1910 г., и *American Journal of Psychology*, апрель 1910 г.). Об общем психологическом учении Фрейда см. перевод Брилла: *Freud's Selected Papers on Hysteria*, 1909. Методы Фрейда не раз подвергались серьезной критике. Как пример такой критики, сопровождаемой изложением методов, можно назвать статью Макса Иссерлина «Die Psychoanalytische Methode Freuds», *Zeitschrift für die Gesamte Neurologie und Psychiatrie*, Bd. I, Heft 1, 1910. Взвешенную и сдержанную критику психотерапевтических методов Фрейда дает Левенфельд («Zum gegenwärtigen Stande der Psychotherapie», *Münchener medizinische Wochenschrift*, № 3 и 4, 1910).

[19] Взгляды Фрейда на истерию, ныне считающиеся едва ли не эпохальными, я изложил в *Studies in the Psychology of Sex*, т. I, 3-е изд., с. 219 и далее.

«Нам снится только то, что того стоит». Вот здесь многие из нас уже не могут следовать за Фрейдом. Что сны того рода, какие изучал Фрейд, действительно бывают, можно принять; это можно даже считать доказанным. Но утверждать, что все сны непременно следует подогнать под эту одну формулу, — значит требовать слишком многого. Что касается презентативной части снов — той, что основана на действительном чувственном раздражении, — то в большинстве случаев привлекать формулу Фрейда вообще неразумно. Если, когда я сплю, настоящее пение

птицы заставляет меня увидеть во сне, будто я на концерте, эту картину можно считать естественным символом действительного ощущения, и неразумно ожидать, что психоанализ откроет какую-то скрытую личную причину, по которой символ принял форму концерта. А если так, то формула Фрейда неприменима к явлениям, которые охватывают один из двух главных разделов снов даже при поверхностной классификации и, возможно, входят во все сны.

Но даже если взять сны оставшегося, репрезентативного класса — сны, сложенные из образов, не зависящих прямо от действительного ощущения, — нам все равно приходится сохранять осторожность. Очень большая доля снов этого класса, по-видимому, ни в каком смысле не «стоит того», если говорить о личной жизни. Было бы, пожалуй, удивительно, если бы стоила. Кажется достаточно ясным, что во сне, как несомненно и в гипнагогическом состоянии, внимание ослаблено, а способность к апперцепции понижена. Уже одно это, по-видимому, означает ослабление того напряжения, с которым мы волим и желаем своих личных целей. Вместе с тем, поскольку наша душевная деятельность больше не сосредоточена в фокусе желания, безразличным образам легче проникнуть в поле спящего сознания. Можно даже утверждать, что деятельность желания, когда она проявляется во сне и идет путем, указанным Фрейдом, соответствует особой форме сна, при которой внимание и апперцепция, хотя и в измененных формах, деятельнее, чем в обычном сне.[20] Такие сны, по-видимому, особенно часто или в более отчетливых формах бывают у невротиков и особенно у истеричных; и если верно, что истеричные отчасти спят даже тогда, когда бодрствуют, то можно сказать и то, что они отчасти бодрствуют даже тогда, когда спят. Фрейд, несомненно, считает —

вероятно, справедливо, — что нет коренного различия между нормальными людьми и психоневротиками и что, например, как говорит Ференци, подчеркивая это, «в каждом есть жилка истерического склада». Фрейд, правда, провел интересные аналитические исследования собственных снов, но основная масса материала, накопленного им и его школой, взята из снов невротиков. Так, Штекель говорит, что проанализировал многие тысячи снов, но его обширное исследование о толковании снов посвящено исключительно снам невротиков.[21] Штекель полагает, кроме того, что по строению жизни сна можно делать выводы не только о жизни и характере спящего, но и о его неврозе: истеричному снятся иные сны, чем человеку с навязчивыми состояниями, и так далее. Если это так, у нас, несомненно, есть основание сомневаться, можно ли с уверенностью считать, что выводы, сделанные из изучения снов невротиков, представляют нормальную жизнь сна, даже если верно, что четкой границы между ними нет. Как бы ни обстояло дело у невротиков, в обычном нормальном сне образы, проплывающие по полю сознания, хотя и обладают собственной логикой, в значительной доле случаев, по-видимому, вполне объяснимы без теории, будто они находятся в жизненно важной, но скрытой связи с нашим самым сокровенным «я».

[20] Это подтверждается тем, что в грезах наяву, или дневных мечтах, желания явно служат движущей силой при построении воображаемых зданий. Фрейд придает грезам большое значение, считая, что они дают ключ к пониманию снов (например, *Sammlung Kleiner Schriften zur Neurosenlehre*, 2-я серия, с. 138 и далее, 197 и далее). Но надо помнить, что дневная греза — не настоящее сновидение, которое протекает в совсем иных физиологических условиях, хотя вполне можно утверждать, что дневная греза представляет состояние, промежуточное между обычным бодрствующим сознанием и сознанием во сне.

[21] Особенности сновидений у истеричных изучал, еще до того как Фрейд обратился к этому вопросу, Санте де Санктис (*I Sogni e il Sonno nell' Isterismo*, 1896). См. также: Хэвлок Эллис, *Studies in the Psychology of Sex*, т. I, 3-е изд., 1910, «Auto-erotism».

Даже наяву, причем в обычные минуты, а не в минуты мечтательности, можно, по-видимому, проследить появление в поле сознания образов, которые не вызваны ни каким-либо известным душевным или телесным обстоятельством данной минуты, ни каким-либо скрытым желанием, — образов, столь же оторванных от непосредственных притязаний желания и даже ассоциации, какими, по-видимому, в столь большой мере оказываются образы сна. Мне иногда случается — как, несомненно, случается и другим, — что в какую-то минуту, когда мысли мои обычным порядком заняты работой, лежащей передо мной, на поверхности сознания вдруг появляется совершенно не связанная с ней картина. Встает сцена, смутная, но обычно узнаваемая, — какой-нибудь город или пейзаж, австралийский, русский, испанский, все равно какой, — увиденная мимоходом много лет назад и, быть может, ни разу с тех пор не вспоминавшаяся, не имеющая никакой известной связи ни с делом, которым я занят, ни вообще с моей личной жизнью. Она всплывает на поверхность сознания так же мягко, так же неожиданно, так же ни с чем не связанно, как крошечный пузырек может подняться и лопнуть на поверхности настоящего ручья от древнего органического вещества, тихо распадающегося в глубине.[22] Всякий, кто много путешествовал, непременно хранит в своих душевных глубинах практически бесконечное число таких забытых картин, лишенных всякого личного чувства. Можно теоретически утверждать, что, всплывая в сознании, они вызваны каким-то действительным, хотя и неуловимым сходством с

душевным или телесным состоянием, существующим в минуту их появления. Но доказать эту теорию нельзя. Не правдоподобнее она, можно добавить, и простой, но столь же недоказуемой теории, что такие сцены и впрямь всплывают на поверхность сознания вследствие какого-то легкого самопроизвольного распада в крошечном мозговом центре и предшествующей душевной причины у них не больше, чем у того, что я замечаю, как солнце выходит из-за облака.

[22] Писатель Гиссинг, тонкий наблюдатель душевных состояний, описал это явление в самой личной из своих книг — «Записках Генри Райкрофта»: «Всякий, полагаю, подвержен одной причуде ума, которая часто меня озадачивает. Я читаю или думаю — и вдруг, без всякой ассоциации или намека, какие я мог бы обнаружить, передо мною встает образ знакомого места. Невозможно объяснить, почему именно этот уголок показывается моему мысленному взору; мозговой толчок так тонок, что никакие поиски не найдут его истока». Далее Гиссинг говорит, что звеном ассоциации, возможно, послужили мысль, фраза, запах, прикосновение, положение тела, но никаких доказательств этой теории он не знает.

Подобным же образом в области душевных болезней Липман в исследовании *Über Ideenflucht* убедительно доказал, что обычная логоррея — недержание мыслей, связанных между собой поверхностными ассоциациями по сходству или смежности, — есть связывание *без направления*, то есть не отвечающее никакому интересу человека, ни практическому, ни теоретическому. Или, как выражается Клапаред, логоррея — это расстройство реакции *интереса* к жизни. Разумнее всего, по-видимому, считать, что в обычном сне поток образов большей частью идет тем же легким путем. Бодрствующему сознанию этот путь часто может казаться странным, но ведь для бодрствующего сознания странны и сами условия жизни во сне. При этих условиях, однако, вполне можно думать, что склонность к движению в направлении наименьшего сопротивления по-

прежнему преобладает. А так как внимание и воля во сне ослаблены и расслаблены, должна ослабевать и напряженная сосредоточенность на личных целях. Мы становимся бескорыстнее. Личное желание большей частью скорее отступает на задний план, чем выдвигается вперед. Если бы сон не был временем, когда желание обычно ослабевает, он перестал бы быть временем отдыха и восстановления сил.

Спящее сознание — огромный мир, едва ли менее огромный, чем мир бодрствующего сознания. Тщетно думать, будто одна формула способна охватить все его бесчисленные разновидности и все степени его глубины. Тем, кто думает, будто всякое сновидение есть символизм, для толкования которого достаточно одного шифра, не следует удивляться, если — пусть и несправедливо — их сочтут похожими на тех, кто утверждает, будто находит на каждой странице Шекспира шифр, открывающий авторство Бэкона. Что до теории толкования снов Фрейда, я считаю этот шифр подлинным, но полагаю, что невозможно признать столь узкое и исключительное толкование достаточным для объяснения всего мира сновидений. Априори было бы непостижимо, чтобы спящее сознание обладало столь необычайной избирательной силой среди пестрых элементов бодрствующей жизни, а опыт не дает достаточных оснований предполагать, что оно действительно так избирает. Напротив, по большей части оно в высшей степени беспристрастно выдвигает и сочетает все проявления нашей бодрствующей жизни — и самые пустячные, и самые сокровенные. Существует признак душевного расстройства, называемый экстроспекцией, при котором больной так пристально сосредоточивает внимание на событиях, что начинает толковать самые пустячные знаки и случаи как исполненные скрытого смысла и может так выстроить

систематизированный бред.[23] Исследователь снов всегда должен помнить об опасности впасть в болезненную экстроспекцию.

[23] Экстроспекцию особо изучали Вашид и Вюрпа в книге *La Logique Morbide*.

Такие соображения, по-видимому, показывают, что неверно, будто каждый сон, каждый душевный образ «того стоит»; вместе с тем они нисколько не умаляют ценности особых, целенаправленных методов исследования сознания во сне. Фрейд и его последователи, затратив немало терпения и искусства, показали, что его метод толкования снов во многих случаях может давать связные результаты, которые нелегко объяснить случайностью. Вполне возможно, однако, признавать заслугу Фрейда, отстоявшего большое место символизма в снах, и приветствовать применение его психоаналитического метода к снам — и все же отрицать, что это единственный метод толкования сновидений. Фрейд утверждает, что всякое сновидение целенаправленно и значимо и что нужно отказаться от убеждения, будто сны — лишь пустой плод разобщенной деятельности мозговых центров. Остается, однако, верным, что, хотя разум играет во снах большую роль, чем думает большинство, деятельность разобщенных мозговых центров дает один из лучших ключей к объяснению душевных явлений во сне. Во всяком случае, трудно поверить, что в расслабленности сна наши мысли по-прежнему преследуют намеренно выбранную цель под властью наших бодрствующих побуждений. Многие факты указывают — хотя школа Фрейда, конечно, может возразить, что эти факты не истолкованы до конца, — что на деле такой власти часто явно недостает. Таков, например, хорошо известный факт: наши самые недавние и острые переживания — именно те, что могли бы с наибольшей страстью облечься в желание, — редко отражаются в наших снах,

тогда как недавние события более пустячного свойства, равно как и давние события более серьезного значения, легко находят в них место. Это легко объясняется предположением — не вполне согласным с обобщенной теорией желания, — что утомленные за день чувства ночью находят покой.

Надо также сказать, что, даже признав, что сильное чувство может символически возвести сложное здание сна, нуждающееся для толкования в анализе, мы неоправданно сужаем процесс, утверждая, будто это чувство непременно есть желание. Желание, несомненно, очень глубоко коренится в жизни и очень древне. Но есть и другое чувство, столь же коренное и древнее, — страх.[24] Вполне можно ожидать, что это чувство, как и желание, лежит в основе явлений сна.[25]

[24] О душевном значении страхов см.: Г. Стэнли Холл, «A Study of Fears», *American Journal of Psychology*, 1897, с. 183. Мечников (*Essais Optimistes*, с. 247 и далее) настаивает на сочетании страха и силы у человекообразных обезьян.

[25] Это отмечали Фуко, и Мортон Принс, и Гисслер (признающий, что сон-желание обычен у детей), и Флурнуа (замечающий, что действенным может быть не только страх, но и любое чувство), а также Клапаред. Последний замечает, что Фрейд мог бы считать страх подавленным желанием, но с тем же правом можно сказать, что желание на своей оборотной стороне заключает страх. Фрейд и сам указывал (например, *Jahrbuch für Psychoanalytische Forschungen*, Bd. I, 1909, с. 362), что страхи могут инстинктивно сочетаться с желаниями; связь желания с противоположным ему страхом он считает одной из составных частей некоторых болезненных душевных состояний. Но положительным и основным элементом он считает желание: «Бессознательное может только желать» («Das Unbewusste kann nichts als wünschen») — утверждение, которое для психолога звучит несколько слишком метафизически.

Таким образом, инфантильная форма сна-желания, как у взрослых, так и у детей, несомненно, чрезвычайно обычна, и даже в своих символических формах это явление действительное и нередкое. Но невозможно следовать за Фрейдом, когда он

объявляет, что все сны относятся к группе снов-желаний. Мир душевной жизни во сне, как и мир бодрствования, богат и разнообразен; его нельзя охватить одной формулой. Тонкий и проницательный аналитический гений Фрейда много сделал для расширения наших знаний об этом мире сна. Мы можем признавать ценность его вклада в психологию сновидений и вместе с тем отказываться принять преждевременное и узкое обобщение.

Сон-желание того рода, что так подробно исследован Фрейдом, можно принять как один тип сновидений, и тип очень интересный, но очевидно, что это лишь один тип. Есть даже другие типы, по-видимому тесно с ним связанные и все же совершенно отличные. Таков, например, сон-контраст. Сон-контраст типа Нэкке представляет собой появление черт, явно противоположных характеру и привычкам спящего. Так, в течение четырех ночей подряд мне снилось во всех подробностях, что (1) я — мэр большого северного города и собираюсь председательствовать на местном собрании Библейского общества; (2) что я солдат в разгаре боя; и (3) что я обдумываю шаг — пойти на сцену комическим актером, — единственная из трех ролей, которая, кажется, вызвала у меня какое-то волнение или опасение. В снах-контрастах этого типа мы имеем дело не с прорывом скрытых и вытесненных желаний. Они основаны лишь на остаточных возможностях, совершенно чуждых нашему темпераменту, каким он сложился в жизни, и составляют часть нашей сложной личности лишь в том смысле, что, как сказал Шопенгауэр, каким бы путем мы ни пошли в жизни, в нас есть скрытые зародыши, которые могли бы развиться только на совершенно противоположном пути.

Даже один и тот же сон может происходить от совершенно разных причин. Возьмем очень простой сон, ибо рассуждать лучше всего на простейших фактах, — сон о еде. Нам снится еда, когда мы голодны, но иногда еда снится и тогда, когда желудок переполнен. Сон тот же, но психологический механизм совершенно иной: в одном случае эмоциональный, в другом — интеллектуальный. В первом случае картина еды строится в ответ на органическую потребность внутренних органов, и перед нами элементарный сон-желание того типа, который Фрейд назвал бы инфантильным; во втором случае тот же сон — теория, воплощенная в конкретной картине, чтобы объяснить испытываемое пресыщение.

Не может быть ни малейшего сомнения, что сон-желание в его простой, или, как называет ее Фрейд, инфантильной, форме — чрезвычайно распространенный тип сна.[26] Множество детских снов касается желаний и их исполнения. Сны взрослых, вызванные действительными органическими ощущениями, тоже склонны принимать — хотя и не всегда — ту же форму. Или: наяву нам случится захотеть какую-нибудь вещь; во сне нам снится, что мы ее нашли. Можно также почти с уверенностью сказать, что в некоторых случаях наши сны — исполнение невысказанных и бессознательных желаний наяву. Даже лучшим людям, вероятно, может иногда присниться событие, представляющее исполнение желаний, которых они никогда сознательно не формулировали. Архиепископ Лод имел обыкновение записывать свои сны в дневник. Однажды мы находим у него запись тревожного сна, в котором он видел лорда-хранителя печати мертвым и «уже истлевшим». Немного позже мы находим, что Лод «весьма озабочен завистью и незаслуженной ненавистью, которую питает

ко мне лорд-хранитель печати».[27] Нетрудно увидеть в отношениях архиепископа с лордом-хранителем объяснение его сна.

[26] Так, А. Уиггем («A Contribution to the Data of Dream Psychology», *Pedagogical Seminary*, июнь 1909 г.) записывает множество снов-желаний, большей частью у молодых.

[27] Лод, *Works*, т. III, с. 144.

Если же желания, сознательные или бессознательные, часто исполняются во сне и если, как мы имели основание заключить, символизм — коренная склонность деятельности сновидения, то неизбежно, что сны-желания иногда принимают символическую форму. Так, например, я толкую свой сон, будто я в английском соборе и вижу на стене объявление о том, что на вечерне в такой-то день здание не будет освещено, чтобы не привлекать мотыльков; я просыпаюсь с легкой головной болью, и неосвещенный собор был символом прохлады и отсутствия резкого света, которых желаешь, когда болит голова.

Не может быть также никакого сомнения, что любовные желания часто дают о себе знать в виде снов — и в инфантильной, и в символической форме. Достаточно привести один пример. Его дает молодая девушка двадцати трех лет, с несколько невротическими наклонностями и наследственностью, музыкальная и умная, которая была влюблена в своего учителя музыки, органиста ее церкви. Сон был записан тогда же. «Я была в школе моего детства, и мне сказали, что я — святая Агния, дева и мученица, и через пять минут мне отрубят голову большим ножом. Блеск лезвия так меня напугал, что я спросила, нельзя ли вместо этого, чтобы меня задушил человек, в которого я влюблена. Мне разрешили, если я сумею уговорить его прийти вовремя. Я побежала в нашу церковь (говоря себе, что знаю, что это сон, но что я *должна* увидеть, что он скажет) по огромным

камням, которые резали мне босые ноги, и гадала, в каком веке я живу, и мне хотелось встретить каких-нибудь женщин, чтобы это узнать. Когда я их встретила, все они были в кринолинах. Я бросилась вверх по главному проходу, полному людей, думая, что раз меня все равно убьют, ничто не имеет значения. Мистер Т. (органист) проводил спевку хора в ризнице. Я подбежала к нему и сказала: „Идите скорее, меня сейчас убьют“. Он очень рассердился и сказал: „Уйдите, пожалуйста; вы вечно мешаете мне проводить спевку“. Я сказала: „Неужели вы не понимаете? Меня сейчас убьют; надо мной висит нож, но я лучше хочу, чтобы меня задушили вы, и мне сказали, что так можно, если я вовремя вас приведу“. Как только он понял, он сразу пошел. Потом во сне оказалось, что мы женаты и у нас есть сын, который должен стать композитором. Я сказала, что сначала мне надо попрощаться с этим сыном, и велела няне привести его ко мне. Когда он пришел, я сказала: „Прощай, меня сейчас убьют“. Он сказал: „Мама, я мальчик или девочка? Когда я с мальчиками, я не похож на них, и они называют меня девочкой, а ведь я не похож на девочку“. Я ответила: „Ты и то и другое вместе, потому что будешь совершенным музыкальным гением“». В этом сне, представляющем исполнение во сне чувства, не удовлетворенного в жизни, мы видим рядом инфантильное и символическое исполнение любовного желания, увенчанное одаренным музыкальным ребенком. Желание быть задушенной — несомненный эротический символ,[28] и знаменательно, что в ходе сна принятая смерть через удушение слилась с браком, хотя мысль о смерти, вопреки логике, все еще сохраняется — без сомнения, потому, что сознание во сне не поняло, что принятая форма смерти была подсознательно подставленным символом завершения брака.

[28] Хэвлок Эллис, *Studies in the Psychology of Sex*, т. III, «Love and Pain».

Сон-желание фрейдовского типа рассмотрен здесь потому, что это особый и развернутый пример символизма в сновидении. Важное место символов в сновидениях отнюдь не зависит от того, верен ли этот частный тип сна, и теперь мы можем продолжить разбор значения символической склонности во сне в ее важнейшей форме.

Символы, которыми мы до сих пор главным образом занимались, были следствием склонности сознания во сне воплощать чувства и состояния внутри организма в конкретных предметах или процессах вне организма. В своей полной форме эта символическая склонность становится объективацией части чувств или личности спящего в отдельной воображаемой личности. Происходит процесс драматизации, и спящий оказывается в действии и взаимодействии — дружеском, враждебном или безразличном — с по видимости внешними личностями, которые, при свете анализа, возможного по пробуждении, явно созданы из отщепленных частей его собственной личности.[29] Обычная и простая форма такой объективации, близко родственная некоторым из уже приведенных символизмов, бывает, когда спящий видит образ человека, страдающего каким-нибудь недугом какой-то части тела, и по пробуждении находит, что сам испытывает боль или неудобство в этой части. Так, врачу снится, что он осматривает опухоль в паху у больного, а проснувшись, он обнаруживает легкое раздражение в той же области своего тела. И подобным же образом, как наши телесные потребности, испытываемые во сне, могут символизироваться неодушевленными природными предметами и процессами, так они могут воплотиться и в образе другого человека, занятого удовлетворением той потребности, которую мы сами бессознательно испытываем.

[29] Драматическое начало в сновидениях подробно разбирал Карл дю Прель («Философия мистики», т. I, гл. III), но мало что в нем прояснил.

Интересную и знаменательную группу случаев дают те сны, в которых — вследствие какого-либо сдавливания или усилия — осязательные и мышечные ощущения наших собственных конечностей отщепляются от спящего сознания и выстраиваются в воображаемую личность. Так, один знакомый врач вскоре после приступа инфлюэнцы увидел во сне, что, беседуя с пациенткой, держит руку у нее на колене; она попросила его убрать руку, но его попытки сделать это были тщетны, и он проснулся в ужасе от столь непрофессионального положения — и обнаружил, что его рука крепко зажата между его собственными коленями. Таким образом, в сознании спящего его тело было разделено между ним самим и воображаемым другим лицом: колено стало принадлежать другому, а рука осталась его собственной, — причем за собой он удержал именно руку, а не колено, несомненно, благодаря ее большей осязательной чувствительности и более сложной и тесной связи с мозгом. В гипнагогическом (или гипнопомпическом) состоянии такие ощущения сна могут почти достигать силы галлюцинации. Так, после тяжелого для желудка ужина я просыпаюсь с живым чувством, что кто-то лежит на мне и пытается стащить одеяло, и обнаруживаю, что изо всех сил, но, по-видимому, тщетно пытаюсь выговорить: «Кто там?» Во сне подобного же типа, приснившемся, когда я лежал на спине (и, возможно, с легким несварением после необычно позднего обеда), я проснулся, издав какой-то нечленораздельный возглас, который разбудил мою жену. Мне снилось, что я лежу в постели и какое-то невидимое существо — скорее сверхъестественное, чем человеческое, как казалось, —

яростно стаскивает с меня одеяло, а я кричу ему, очень отчетливо, как мне казалось: «Сгинь, сгинь!»

Очевидно, что мое собственное чувство стеснения, мои собственные бессознательные и непроизвольные движения, сбивавшие одеяло, были восстановлены спящим сознанием как действия внешнего лица — во втором случае сверхъестественного существа, которое, любопытно отметить, я должным образом принял за такое и к которому обратился с подобающими словами старинного романа. Иллюзия может держаться несколько мгновений после пробуждения. Одна дама, несколько секунд дышавшая довольно громко и судорожно, просыпается со словами: «На кровати крыса или мышь, она трясет ее вверх и вниз». «Ты спала, — ответил муж, — я это понял по твоему дыханию». «Ах, это я так дышала, — сказала она, — чтобы она спрыгнула». Здесь мы видим, что, отчасти как и в предыдущих случаях, собственная мышечная деятельность спящей во сне восстанавливается в образ внешней силы; но в полубодрствующем гипнагогическом состоянии она признает, что деятельность была ее собственной, хотя все еще не может отбросить заблуждение, основанное на теории, сложившейся во сне.

Здесь мы подходим к порогу галлюцинации, и следующий случай, можно сказать, лежит на этом пороге, ибо впечатление, полученное в гипнагогической (или гипнопомпической) стадии, принимается в иллюзорной форме даже тогда, когда спящий вполне проснулся. Дочери фермера — живой девушке двадцати одного года, с быстрыми нервными реакциями, но без особой выучки ума — приснилось, что она видит своего брата (умершего несколько лет назад) с кровью, струящейся из пальцев. Она проснулась в испуге и утешала себя мыслью, что это только сон,

как вдруг почувствовала, что чья-то рука трижды подряд сжала ее плечо. В комнате никого не было, дверь была заперта, и никакого объяснения она найти не могла. Она очень испугалась, тотчас встала, оделась и провела остаток ночи внизу за работой. Она была так убеждена, что ее коснулась настоящая рука, что, хотя это казалось невозможным, спросила братьев, не подшутили ли они над ней. Нервное потрясение было значительным, и несколько недель после этого она плохо спала. Она, естественно, ничего не знала о необычных душевных явлениях и совершенно не могла объяснить случившееся иначе, как предположив, что это, может быть, был призрак. Объяснение на самом деле очень простое. Хорошо известно, что непроизвольные мышечные подергивания могут возникать в плече, особенно после того, как оно подвергалось давлению, и что в некоторых случаях такие сокращения могут походить на прикосновение.[30] Сон о кровоточащей руке, если помнить уже знакомую нам склонность сновидения символически объективировать ощущения, указывает на то, что рука спящей, вероятно, была придавлена под ней в неудобном положении.[31] Это давление объяснило бы не только сон, но и мышечные подергивания при пробуждении. Характер сна, вызванный им ужас и умственная затуманенность гипнагогического состояния естественно соединились у человека, непривычного к самоанализу, и создали иллюзию, которую размышление не в силах рассеять, хотя в нормальном бодрствующем состоянии она, вероятно, вовсе не обратила бы внимания на такие мышечные подергивания. Строго говоря, такое переживание — иллюзия, то есть ошибочное толкование действительного ощущения, а не галлюцинация, то есть восприятие без известной внешней причины, — но четкой границы здесь нет. Во всяком случае, теперь можно считать

доказанным, что галлюцинации обычно возникают вблизи сна и потому причастны природе сновидений.[32]

[30] Так, в «Отчете о переписи галлюцинаций» Общества психических исследований приводится случай переутомленного и озабоченного человека, который через несколько мгновений после того, как сошел с трамвая, живо почувствовал, будто кто-то тронул его за плечо, хотя, обернувшись, никого рядом не увидел. Тогда он вспомнил, что в вагоне прислонялся к железному болту и что, следовательно, испытанное им было, несомненно, самопроизвольным мышечным сокращением, вызванным давлением (*Proceedings of the Society for Psychical Research*, август 1894 г., с. 3). Прикосновения, ощущаемые при пробуждении в соответствии со сном, не так уж редки. Так, Вагнер, влюбленный в Матильду Везендонк, писал в личном дневнике, который вел для нее, как после одного сна, «проснувшись, я отчетливо почувствовал поцелуй на лбу».

[31] Различные давления ведут к снам о крови. Так, один друг со слабым сердцем говорит мне, что, когда спит на левом боку, видит во сне кровь. В некоторых из этих случаев возможны ощущения красного в сетчатке.

[32] В «Переписи галлюцинаций» (гл. IX) Комитет Общества психических исследований указал, что галлюцинации особенно склонны возникать при пробуждении или в состоянии между сном и бодрствованием; а Пэриш в своем очень основательном исследовании *Hallucinations and Illusions* (серия «Contemporary Science») развил этот факт дальше и настаивал на его значении.

До сих пор мы занимались склонностью снов объективировать части тела, строя из них новые личности. Но точно такой же процесс идет во сне и с нашими мыслями и чувствами. Мы отщепляем части и от них и строим из них другие личности, а иногда даже наделяем созданных так лиц мыслями и чувствами, более свойственными нашей нормальной личности, чем те, что мы оставляем себе. Так, одна дама, которой приснилось, что, гуляя с подругой, она открыла некий вид животного плода — что-то вроде терновой сливы с улиткой внутри, — выразила восторг, найдя сочетание, столь превосходно подходящее для кухни; а подруга, сохранив отношение, свойственное самой даме наяву, издала возглас отвращения. Большинство снов, в которых есть

хоть какой-то драматический элемент, обязаны этому расщеплению личности; во сне мы можем испытывать стыд или смущение от упреков или доводов других лиц, но лица, делающие упрек или приводящие довод, — все равно мы сами.[33]

[33] Часто цитируют замечание доктора Джонсона по этому поводу. Ему приснилось, что он потерпел поражение в словесном споре, и это его сильно задело. «Если бы рассудок не изменил мне, — сказал он, — я увидел бы, что остроумие этого мнимого противника, превосходство которого меня угнетало, было предоставлено мною в той же мере, как и то, которое, как я думал, я произносил от собственного лица» (Босуэлл, «Жизнь Джонсона», изд. Хилла, т. IV, с. 5).

Некоторые писавшие о сновидениях сильно удивлялись этой склонности спящего ума объективировать части самого себя и так создавать воображаемых лиц и развивать драматические положения. Им казалось, что это совершенно необъяснимо иначе, как особым даром воображения, присущим сну. Однако, как ни замечателен этот процесс, он просто неизбежно вытекает из условий, в которых существует душевная жизнь во сне. Если мы поймем, что во сне происходит более или менее выраженная диссоциация содержания ума, и если поймем также, что ум — во сне ничуть не меньше, чем наяву, — есть нечто инстинктивно рассуждающее и не способное удержаться от построения гипотез, то нам легко будет увидеть, как развиваются лица и положения сновидений. Почти такой же процесс мог бы при некоторых обстоятельствах происходить и наяву. Если бы мы, например, услышали незнакомый голос, говорящий за занавесом, мы непременно построили бы в связи с этим голосом воображаемого человека, черты которого во многом определялись бы характером голоса и того, что он произносит; и, далее, совсем легко было бы вступить в разговор с построенным так человеком. Это, по-видимому, и происходит во сне. Мы слышим голос за занавесом

тьмы и, чтобы подобрать что-то к этому голосу и к тому, что он произносит, инстинктивно создаем картину, которая в силу галлюцинаторной способности сна отбрасывается на занавес; и тогда совсем легко вступить в разговор с построенным так лицом. Во сне нам так же не приходит в голову предположить, что слышимый голос — только голос и ничего более, как не пришло бы в голову наяву предположить, что голос за занавесом — только голос и ничего более. Процесс тот же; разница в том, что во сне мы, сами того не зная, живем среди того, что с точки зрения бодрствования называется галлюцинациями.

Этот процесс, посредством которого в спящем сознании образуются сны через расщепление личности спящего ради построения других личностей, признавался с тех самых пор, как сны стали серьезно изучать. Мори говорил о расщеплении личности в сновидениях.[34] Дельбеф разбирал то, что он называл «альтруизацией» спящим части его представлений.[35] Фуко называет тот же процесс персонализацией.[36] Гисслер пытается обстоятельно объяснить загадку самораздвоения — образования вторичного «я» — во сне; если, рассуждает он, прикосновение или иное ощущение превышает приспособительную способность тела сновидения — то есть если состояние раздражения выше порога апперцепции, — то лишь одна часть восприятия относится к телу сновидения, а другая переносится на вторичное «я».[37] Это объяснение, вполне удовлетворительно охватывая презентативный класс снов, прямо связанный с чувственными раздражениями, не так легко приложить к драматизации наших репрезентативных снов, которые не сводятся явным образом к прямому телесному раздражению.

[34] Мори, *Le Sommeil et les Rêves*, 1861, с. 118.

[35] Дельбеф, *Le Sommeil et les Rêves*, с. 24 и далее.

[36] Фуко, *Le Rêve*, с. 137.

[37] Гисслер, «Das Ich im Traume», *Zeitschrift für Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane*, 1905, Heft 4 и 5, с. 300 и далее.

Расщепление личности — поистине весьма выраженная и широко распространенная склонность ума, и в последние годы ее обстоятельно изучали. Здесь мы имеем основу того душевного явления, которое называют по-разному: вторичной личностью, двойной личностью, раздвоенной личностью, множественной личностью, чередованием личностей и т. д.,[38] — и которое в прежние века считали следствием одержимости демонами. Такие состояния, по-видимому, обычно связаны с истерией. Суть истерии, по Жане, — в недостатке синтезирующей силы, который есть вместе с тем недостаток внимания и апперцепции и имеет следствием распад поля сознания на взаимоисключающие части; иначе говоря, здесь идет процесс диссоциации. А это, как мы видели, состояние, сходное с тем, что наблюдается в сновидениях. Поэтому нетрудно принять взгляд Солье и других, что истерия — состояние, родственное сну, состояние вигиламбулизма, при котором больные часто не могут нормально заснуть просто потому, что все время находятся в состоянии ненормального сна; как сказал Солье один из больных: «Я не могу уснуть, потому что все время сплю». Так что, возможно, истерические множественные личности[39] дают болезненный аналог той склонности к драматической объективации частей нашей личности, которая во сне нормальна и здорова.

[38] См. особенно труды Пьера Жане, а также Мортона Принса, Альберта Уилсона и др. Замечательно весьма обстоятельное исследование Флурнуа о м-ль Элен Смит (*Des Indes à la Planète Mars*, 1900). Обзор некоторых важных случаев

множественной личности можно найти в книге Марии де Манасеиной *Sleep*, с. 127 и далее, а некоторые библиографические указания — там же, с. 151.

[39] Дж. Милн Брамуэлл доказывает («Secondary and Multiple Personalities», *Brain*, 1900), что такие случаи не всегда истерические.

Подобным же образом при душевных болезнях мы находим еще более постоянную и выраженную склонность больного приписывать собственные ощущения воображаемым лицам и создавать личности из частей своей действительной личности. Все иллюзии, бредовые идеи и галлюцинации душевнобольных — лишь многообразные проявления этой склонности. Без нее не было бы и самой болезни. Человек душевно болен не потому, что испытывает необычные ощущения — зрительные, слуховые, осязательные, обонятельные, внутренние и т. д. Он болен потому, что создает воображаемые личности, чтобы объяснить эти ощущения: если пища кажется ему странной на вкус, значит, кто-то дал ему яд; если он слышит странный голос, значит, кто-то сообщается с ним по телефону, через микрофоны или гипнозом; если он чувствует странное внутреннее ощущение, то, быть может, потому, что внутри у него сидит другой человек. Записан даже случай человека, который приписывал всякое испытываемое им чувство, даже самые обычные ощущения голода и жажды, окружающим людям. Это в точности тот же процесс, что идет в наших снах. Здоровый человек, нормальный бодрствующий человек, может испытывать все эти странные ощущения, но он признает, что они — самопроизвольное порождение его собственного организма.

Мы можем, однако, сделать еще шаг за пределы этого положения. Эта самообъективация, эта драматизация наших переживаний не ограничивается сном и болезненными состояниями, напоминающими сон. Она естественна и изначальна

в гораздо более широком смысле. Младенец пытливо разглядывает собственные ноги, следит за их движениями, играет с ними, «наказывает» их;[40] сознание еще не вобрало их как часть себя. Младенец действительно действует и чувствует по отношению к отдаленным частям собственного тела так, как взрослый действует и чувствует во сне. Вспоминается обобщение Гисслера, что сознание во сне соответствует нормальному душевному состоянию в детстве, а спящее подсознание — зародышевому душевному состоянию; так что состояние сновидения представляет собой возрождение «я», высвобождающегося из безличных ощущений и смутных образов зародышевой стадии жизни. Что спящее сознание есть изначальное зародышевое сознание, на это, как мне не раз казалось, указывает и то, что у многих животных зародышевое положение есть положение отдыха и сна. Утята и цыплята в яйце держат голову под крылом. Собака лежит, сведя лапы, согнув голову и подтянув задние ноги. Человек и в утробе, и во сне склонен свертываться калачиком, причем сгибатели преобладают над разгибателями.

[40] См.: Г. Стэнли Холл, «The Early Sense of Self», *American Journal of Psychology*, апрель 1898 г. Кули («The Early Use of Self-Words by a Child», *Psychological Review*, 1909, с. 94) находит, что ребенок различает себя как (1) тело и как (2) самоутверждение, соединенное с действием; первое он называет «малыш», второе — «я».

Первобытный человек ушел дальше младенца в умении усваивать впечатления от собственных конечностей, но в душевной области он все еще постоянно склонен объективировать свои чувства и мысли, воссоздавая их как внешние существа. Древний человек поступал так с самого начала, и этот порыв пустил корни во все наши самые коренные человеческие предания, как они

сохраняются в цивилизации и поныне. Человек раннего мира движется, подобно спящему, среди моря чувств и мыслей, происхождения которых он не может распознать, и, подобно спящему, инстинктивно их драматизирует. Но, в отличие от спящего, он придает созданным им образам устойчивость и искренне принимает их за самостоятельные существа. Так возникают анимистические ступени культуры, и человек ранней поры населяет свой мир богами, духами, демонами, феями и призраками, которые входят в предания его народа и более или менее принимаются даже позднейшим народом, который уже не создает их сам.

В наших более развитых цивилизациях мы все еще боремся с позднейшими формами той многоликой, как Протей, склонности объективировать собственное «я» и одушевлять вещи и даже людей вокруг нас своим собственным духом. Нетерпеливый и плохо воспитанный ребенок, а то и взрослый, со злостью пинает предмет, о который споткнулся, одушевленный или неодушевленный, чтобы отомстить за обиду, существующую лишь в нем самом. На несколько более высокой ступени люди средневековья возбуждали судебные иски против провинившихся животных и торжественно выносили им приговор как «преступникам»,[41] а общество и поныне «наказывает» преступника-человека, потому что в воображении воссоздало его по образу обычного нормального человека и не умеет увидеть, что законы его природы и среды вылепили из него существо, от которого нам следует защищаться, но которое мы не вправе «наказывать».[42] Повсюду вокруг себя мы все еще видим сохранившиеся следы этой изначальной склонности людей переносить свою личность на внешние предметы. Высокая цивилизация во многом состоит в должном подчинении этой

склонности, в осознании и обуздании наших собственных эмоциональных возможностей и в вытекающем отсюда росте личной ответственности.

[41] См., например: Хэвлок Эллис, *The Criminal*, 4-е изд., 1910, с. 367.

[42] В нынешних преданиях права и полиции еще можно найти много пережитков этой склонности объективировать субъективные впечатления. Так, г-н Теодор Шредер показал (*Free Press Anthology*, 1909, с. 171 и далее), что преследования, которым в разных цивилизованных странах подвергались многие достойные и даже благородные произведения литературы, науки и искусства, основаны на древнем представлении, будто «непристойность» заключена в предмете, а не в человеке, испытывающем это чувство, — а ведь только его одного, если уж подавлять, и следовало бы подавлять. Это психологическое заблуждение продолжает жить, хотя его самым ясным образом разоблачил еще апостол Павел (например, Рим. 14:14). Оно несколько сходно со средневековым представлением о преступности животных.

Таким образом, невозможно переоценить огромное значение изначальной символической склонности объективировать субъективное. Люди вынимали из собственного сердца свои лучшие и худшие чувства, олицетворяли их и драматизировали, преклонялись перед ними или попирали их ногами, не в силах расслышать голос, которым говорил каждый из этих образов: «Я — это ты». Наши представления о религии, о нравственности, о многих могущественнейших явлениях жизни, особенно о явлениях более исключительных, выросли под этим влиянием, которое и поныне служит опорой многим нынешним движениям, которые иные считают новыми.

Сновидения, как мы видели, — не единственный источник таких представлений. Но вряд ли они показались бы убедительными, а может быть, и вовсе не возникли бы у народов, совершенно лишенных опыта сновидений. Значительная часть всякого прогресса в психологическом знании, да и значительная часть самой цивилизации, состоит в осознании того, что по

видимости объективное на деле субъективно, что ангелы, демоны и гении всякого рода, некогда казавшиеся внешними силами, овладевающими слабыми и ничем не заполненными личностями, сами суть лишь образы действия удивительно богатых и разнообразных личностей. В наших снах мы возвращаемся в магический круг ранней культуры и сжимаемся и содрогаемся перед призраками воображения, построенными из наших собственных мыслей и чувств, — призраками, которые на самом деле наша собственная плоть.

ГЛАВА VIII. СНЫ О МЕРТВЫХ

✦

Распад связей в уме во время сна — Пример: сон о возвращении в школу — Типичный сон об умершем друге — Примеры — Ранние записи снов этого типа — Разбор таких снов — Нетипичные формы — Утешение, которое порой приносят сны о мертвых — Древние предания, сходные с этим типом снов — Влияние сновидений на веру древнего человека в то, что мертвые продолжают жить.

Наши воспоминания склонны складываться в группы, или системы. У каждого из нас множество таких упорядоченных групп впечатлений. Каждая пора жизни, каждый предмет, которым мы занимались, каждый близкий друг, какой у нас был, — все это более или менее обособленные массы мыслей и чувств. Внутри каждой системы одна мысль или одно чувство легко вызывает другое, принадлежащее той же системе. Более того, в полной и бодрой жизни наяву каждая система соприкасается с родственными ей системами. Если в поле сознания хлынут воспоминания, относящиеся к одной поре жизни или к одной стране, где мы жили, мы можем проверить и оценить их, сопоставив с другими, относящимися к другой поре или к другой стране. Если нас захлестнули мысли и чувства, связанные с памятью об одном друге, мы можем восстановить душевное равновесие, вызвав мысли и чувства, связанные с другим другом. Так различные системы согласуются в апперцепции.[1]

[1] Сошлюсь на очень интересное рассуждение профессора Дж. Ф. Стаута (*Analytic Psychology*, т. II, с. 145) о столкновении систем в апперцепции, о

неопределенности и тупике, которые возникают, когда две или более системы сталкиваются так, что успех одной оборачивается поражением другой. Это рассуждение полно интереса благодаря своей невольной связи с явлениями сновидения.

Во сне, однако, эти группы обычно не так прочно связаны теми нитями, по которым мы наяву переходим от одной к другой. Они словно сорваны с якорей и на волнах спящего сознания расплываются в стороны или сталкиваются, образуя новые и, как кажется, случайные сочетания. Это и есть тот процесс диссоциации, или распада связей, который так ярко выражен в сновидении и во всех родственных ему душевных явлениях — галлюцинациях, истерии, раздвоении личности, душевных болезнях.

Простой пример столкновения и путаницы двух противоположных систем воспоминаний во сне, когда должного апперцептивного контроля нет, дает распространенный и хорошо известный тип сновидения — сон о возвращении в школу юности.[2] Многим людям время от времени снится этот сон, часто яркий и тревожный. Быть может, мы покинули школьный класс тридцать и более лет назад и с тех пор ни разу его не видели; быть может, он исчез из наших мыслей наяву. И все же время от времени мы оказываемся там во сне, и нас призывают занять прежнее место, и всегда при этом есть чувство разлада, смутная неловкость, ощущение чего-то несообразного и унизительного, потому что мы понимаем: теперь мы для этого слишком стары. Вот сон для примера. Я снова оказываюсь в своей старой школе, но моего старого учителя там нет: он болен, как говорит мне его заместитель, лицо которого почему-то кажется знакомым, хотя я не могу вспомнить, где его видел. Никого из мальчиков я не знаю; я возвращаюсь после нескольких месяцев отсутствия. Я понимаю, что мне предстоит снова занять свое прежнее место, и все же

чувствую к этому глубокое отвращение, ощущение, что это как-то несообразно. Последнее чувство, по-видимому, берет верх: в конце концов я принимаю на себя роль посетителя и не вполне искренне говорю учителю, что приятно снова увидеть старые места.

[2] Фуко, например (*Le Rêve*, с. 25), разбирает такие сны и приводит их примеры. Причины этого типа сновидений меня здесь не занимают. Быть может, как полагает Вундт, его вызывает какое-то телесное неудобство спящего, например стесненная поза, выражающее себя символически.

В таком случае, по-видимому, картина из давней системы воспоминаний проплывает через поле спящего сознания, и спящий, естественно, втягивается в эту систему и начинает приноравливаться к ее требованиям. Но пока он это делает, на него начинает бессознательно влиять другая, более поздняя и несовместимая с первой система воспоминаний.[3] Однако нити связи, которые наяву позволили бы ему критически согласовать противоположные системы, не действуют: апперцепция ослаблена. И все же противоположные системы присутствуют — вне непосредственного поля сознания — и теснят давнюю систему, оказавшуюся в центре внимания. В конце концов этот натиск более новых систем на давнюю вызывает в сознании примиряющее изменение. Спящий перестает быть мальчиком в своей старой школе и принимает на себя роль посетителя.

[3] Можно добавить, что сны о возвращении в школьные места ранней поры жизни не всегда принадлежат описанному здесь типу; это видно на примере сна, уже приведенного выше, который, стоит отметить, приснился мне после дня, когда я размышлял о снах этого рода.

Сны о недавно умерших друзьях образуют тип сновидения, который складывается точно так же, как эти сны о возвращении в школу. Разница лишь в том, что они часто облекают его в более яркую, отчетливую и мучительно-волнующую форму. Так

происходит отчасти из-за самого предмета таких снов, а отчасти потому, что факт смерти резко делит наши впечатления об умерших друзьях на две группы, которые тесно связаны друг с другом своим предметом и все же совершенно противоположны тем, что в одной группе друг жив, а в другой — мертв.

Привожу две серии снов — одну у мужчины, другую у женщины, — показывающие этот тип сновидения.[4]

[4] Я воспроизвожу эти две серии в том виде, в каком они были впервые напечатаны (Хэвлок Эллис, «On Dreaming of the Dead», *Psychological Review*, сентябрь 1895 года), так как они послужили отправной точкой для моих собственных и чужих исследований этого типа сновидений.

Наблюдение I. — Мистер К., около двадцати восьми лет, человек научной подготовки и склада. Вскоре после смерти матери ему не раз снилось, что она ожила. Ее похоронили, но каким-то образом обнаружилось, что на самом деле она не умерла. Мистер К. описывает мучительную борьбу ума в этих снах, доводы в пользу смерти — ведь невозможно долго оставаться живым в могиле — и то, как эти сомнения в конце концов тонули в чувстве изумления и радости, потому что мать действительно была здесь, живая, в его сне.

С течением времени эти сны стали реже, но несколько лет спустя приснился отдельный сон, ясно показывающий следующую ступень того же процесса. Мистеру К. приснилось, что его отец только что вернулся домой, а сам он, спящий, никак не может понять, где мать. Долго недоумевая, он спросил сестру, но в тот самый миг, когда он спрашивал, его осенило — скорее, как ему кажется, с чувством облегчения от разрешения мучительного затруднения, чем с горем, — что мать умерла.

Наблюдение II. — Миссис Ф., около тридцати лет, очень умная, но несколько чувствительного нрава. Через неделю после смерти

подруги, с которой она дружила всю жизнь и к которой была глубоко привязана, миссис Ф. впервые увидела ее во сне: оказалось, что подруга жива, а затем по ходу сна обнаружилось, что ее похоронили заживо.

Второй сон приснился на следующую ночь. Миссис Ф. казалось, что она пришла навестить подругу, застала ее в постели и рассказала ей о странных вещах, которые слышала (то есть о том, что подруга умерла). Подруга дала миссис Ф. на память несколько вещиц. Но, выходя из комнаты, миссис Ф. услышала, что подруга в самом деле умерла и говорила с ней уже после смерти.

В четвертом сне, позднее, миссис Ф. видела, что подруга пришла к ней и сказала, что вернулась на землю на несколько минут, чтобы передать ей весточку и уверить ее, что она счастлива в ином мире и наслаждается самой полной жизнью.

Еще один сон приснился больше чем через год. Кто-то принес миссис Ф. во сне весть, что ее подруга все еще жива; ее отвели к подруге, и она нашла ее такой же, как при жизни. Подруга сказала, что была в отъезде, но не объяснила, где была и почему ее считали умершей. Миссис Ф. ни о чем не спрашивала и не чувствовала никакого любопытства, поглощенная радостью оттого, что подруга жива, и они принялись обсуждать все, что случилось с их последней встречи. Сон был очень яркий, естественный и подробный, и, проснувшись, миссис Ф. чувствовала себя несколько утомленной. Хотя она не склонна видеть в снах знамения, этот сон принес ей чувство утешения.

Следующая серия наблюдалась позднее. Я привожу все сны и промежутки, через которые они снились. Довольно неожиданная весть о смерти близкого друга, с которым меня связывала дружба всей жизни, пришла ко мне, когда я сам поправлялся после инфлюэнцы. Ни одного сна, который можно было бы связать с

этим событием, не было примерно две недели[5] (до 16 января). Тогда мне приснилось, что я со своим другом и спрашиваю его (он был священником и знатоком Библии), мог ли, по его мнению, Иисус говорить по-гречески. Я проснулся, не получив ответа, но то, что он предстал живым, не вызвало у меня ни малейшего сомнения, колебания или удивления.

[5] Хорошо известно, и на это не раз указывали (Вейгандт, Санте де Санктис, Джуэлл и другие, а впервые, быть может, Т. Беддоус в своей *Hygeia*, 1803, т. III, с. 88), что в детстве все чувства минувшего дня тотчас откликаются в сновидениях, а после отрочества сильные чувства так себя не ведут: они появляются в сновидениях лишь спустя более или менее значительный промежуток. Мария де Манасеина и Санте де Санктис объясняют это истощением чувства, которому нужен срок для восстановления и органического синтеза, прежде чем оно сможет повториться. Вашид полагал, что о недавних событиях мы видим сны в неглубоком сне, а о давних — в глубоком; это звучит правдоподобно, но едва ли объясняет все явления.

Через девятнадцать дней (4 февраля) приснился следующий сон. На этот раз мне снилось, что мой друг только что умер, а я смотрю на открытку с добрыми пожеланиями, написанную отчасти по-латыни, которую он прислал мне за несколько дней до того (в самый день моего рождения), и жалею, что не ответил на нее. В том, что он умер, у меня не было никакого сомнения. (Замечу, что последнее письмо другу я написал в день его рождения, а он не смог ответить, так что здесь мы видим одно из тех обращений, которые, как отмечали Фрейд и другие, нередки в сновидениях.)

Следующий сон приснился через тридцать четыре дня (10 марта). Мне казалось, что я встретил своего друга и тотчас понял, что умер не он, а его жена, и я сочувственно пожал ему руку.

Несколько месяцев спустя (27 июля) мне снова приснилось, что я гуляю со своим другом и беседую с ним, как мы могли бы беседовать, о предметах, занимавших нас обоих. Но в то же время я знал, и он знал, что я знаю, что назавтра ему суждено умереть.

Еще раз, через две недели (10 августа), мне приснилось, что я условился встретиться с другом на определенной дороге, но он не пришел. Я начал гадать, не забыл ли он о встрече или я сам ошибся, и искал письмо, в котором мы назначили встречу, когда проснулся.

По-видимому, сны этого типа тем менее отчетливы, чем менее сильна привязанность, соединяющая друзей. Следующий сон касался человека, которого я глубоко уважал и ценил, но с которым не был близок. Мне снилось, что я вижу этого друга, редактора психологического журнала, живым и здоровым в его комнате, вместе с двумя знакомыми мне иностранными психологами, которые, по-видимому, сменили его в редакции журнала: я видел их имена на титульном листе номера, который мне дали в руки. Меня удивило, что он, живой и здоровый, перестал редактировать журнал; объяснение, которым я удовлетворительно растолковал себе его появление, было такое: хотя он был так близок к смерти, что жизнь его считали безнадежной, на самом деле он не умер, и известие о его смерти было преждевременным. В моем сонном сознании, правда, мелькнуло, что я читал в газетах некрологи моего друга, но это воспоминание лишь навело меня на мысль, что кто-то допустил серьезную нескромность.[6]

[6] После выхода моей статьи «On Dreaming of the Dead» к этому предмету обращались несколько психологов. Так, Бине (*L'Année Psychologique*, второй год, вышедший в 1896 году, с. 848) привел собственный сон, очень похожий на мой сон о редакторе: врач, умерший за месяц до того, беседует с ним в его комнате. Когда Бине выражает удивление, что видит его, врач объясняет, что разослал известие о своей смерти лишь затем, чтобы посмотреть, сколько людей придет на его похороны. Бине видел также два сна, похожих на описанный выше, в которых он гуляет за городом с умершим другом; друг выглядит здоровым, хотя спящий знает, что тот скоро умрет. Фуко (*Le Rêve*, с. 128), который, согласно своей теории, относит мой сон о редакторе к поре пробуждения, приводит

собственный сон, в котором видел своего отца, умершего за шесть месяцев до того, сидящим в кресле; сначала это кажется ему галлюцинацией, но в конце концов он принимает видение за действительность. Я получил немало писем от людей, видевших сны этого типа. Один корреспондент, известный антрополог и знаток народных преданий, пишет, что его сны об умерших друзьях того же типа, что у миссис Ф. Профессор Неке пишет, что видел такие сны (см. также его статьи в *Archiv für Kriminalanthropologie*, 1903, с. 307, и в *Neurologisches Centralblatt*, 1910, № 13). Одна молодая дама сообщает, что и через тринадцать лет после смерти матери все еще видит ее во сне ожившей или вовсе не умиравшей. Добавлю, что этот тип сновидений превосходно показан в серии снов об умершей подруге, которую напечатала в письме одна дама в журнале *Borderland*, январь 1896 года, с. 51.

Хотя до 1895 года никто не пытался разобрать этот тип сновидения, сам такой сон записывали часто, — да иначе и быть не могло при его мучительном и трогательном характере. Ранний пример дает философ Гассенди: он рассказывает, что ему приснилось, будто он встретил друга, приветствовал его как вернувшегося из мертвых, а затем, сказав себе во сне, что это невозможно, заключил, что, должно быть, видит сон![7] Пипс, в свою очередь, записал в «Дневнике» 29 июня 1667 года, через несколько месяцев после смерти матери, такой сон: «Мать сказала мне, что ей недостает пары перчаток, и я вспомнил о паре перчаток жены у меня в комнате и решил, что она их получит, но потом вспомнил [подумал], как же мать очутилась здесь, когда я ношу по ней траур, и, решив, что мы ошибались, все это время почитая ее умершей, я постарался устроить так, чтобы всякому, кто спросит, говорили, что умерла моя теща, мать жены, и траур мы носим по ней». Этот сон, добавляет Пипс, «весьма меня встревожил». Эдмон де Гонкур в своем «Дневнике» (27 июля 1870 года) хорошо описывает, как в первом сне об умершем брате, к которому он был так нежно привязан, явились оба потока воспоминаний. Ему снилось, что он гуляет с братом, но в то же время знает, что носит по нему траур, и друзья подходят выразить

соболезнование; чувства, вызванные столкновением этих двух уверенностей — что брат жив, о чем говорило его присутствие, и что он мертв, о чем говорили все прочие обстоятельства сна, — были глубоко мучительны. Несколькими годами раньше Ренан, когда его горячо любимая сестра Генриетта умерла рядом с ним в Ливане, тоже видел сны этого типа, глубоко взволновавшие даже его осторожную и скептическую натуру. Она умерла от сирийской лихорадки, которой страдал и он сам, и вскоре после того он писал в письме, что «в лихорадочных снах передо мной вставало страшное сомнение; мне чудилось, будто я слышу, как ее голос зовет меня из склепа, где ее положили». Он утешал себя, однако, мыслью, что это ужасное предположение лишено оснований, так как при ее смерти присутствовали французские врачи. Мори также упоминает, что ему часто снились сны этого типа, в которых умершие являлись живыми, хотя их вид всегда вызывал удивление и сомнение, и спящий мозг старался успокоить их каким-нибудь объяснением.[8] Бони тоже описывает, как ему снилось, будто он с удивлением встречает друга, о котором даже во сне знал, что тот умер.[9]

[7] Гассенди, *Syntagma Philosophicum*, 1658, pars 71, lib. VIII (*Opera Omnia*, т. I).

[8] Мори, *Le Sommeil et les Rêves*, с. 145.

[9] *American Journal of Psychology*, июль — октябрь 1903, с. 18.

В свете всего, что нам удалось узнать о психологии мира сновидений, нетрудно объяснить описанный здесь процесс, его частоту и его мучительное действие на чувства. Этот тип сновидения — лишь особая разновидность самого обычного рода снов, в которых две или более группы воспоминаний сливаются и образуют единое причудливое целое, путаницу в строгом смысле слова. Смерть друга воздвигает преграду, которая рассекает

надвое поток впечатлений о нем. Так в спящее сознание втекают два потока образов: один представляет друга живым, другой — мертвым. Первый поток берет начало в более давних и богатых источниках; второй мучительнее, но и новее, и легче истощается. Два потока бьются друг о друга в беспокойной борьбе, причем, по неизбежным условиям жизни во сне, оба принимаются за истину, и в конце концов они смешиваются, образуя странное согласие, в котором более давние и сильные образы (в согласии с признанной склонностью старых душевных впечатлений вообще быть самыми устойчивыми) берут верх над более новыми. Так, в первом наблюдении спящий, по-видимому, начинал сон с того, что представлял себе мать живой, как прежде; затем вмешивались более новые впечатления, утверждавшие ее смерть. Отсюда борьба между давно укоренившимися образами, представлявшими ее живой, и более поздними, представлявшими ее мертвой. Мысль о том, что она ожила, была, очевидно, теорией, возникшей в его мозгу, чтобы примирить эти два противоположных течения. Теорию эту он принимал не сразу: против нее вставали всякого рода научные возражения, но сомнения быть не могло — ведь мать была здесь. Спящий находится в том же положении, что и параноик, которому постоянно слышатся угрожающие голоса: с этих пор параноик занят тем, что придумывает теорию (электричество, гипноз или что бы то ни было), объясняющую его галлюцинации, и соответственно меняется весь его взгляд на жизнь. Спящий в тех случаях, о которых я здесь говорю, видит образ умершего живым и потому вынужден придумывать теорию, объясняющую этот образ; легче всего приходят на ум две теории: либо умерший на самом деле не умирал, либо он ненадолго вернулся из мертвых. Душевная борьба и борьба чувств, которую заключают в себе

такие сны, делает их очень яркими. Они производят глубокое впечатление и после пробуждения, и для некоторых чувствительных людей почти слишком священны, чтобы о них говорить.

Когда снится серия таких снов об одном и том же умершем друге, то, по-видимому, в целом — хотя исключений, конечно, много — живая действительность видения умершего друга утверждается все решительнее. Наяву ли, во сне ли, нам очень трудно противиться свидетельству своих чувств. Во сне это еще труднее, чем наяву, потому что, как мы имели основания полагать, апперцепция с ее критическим контролем ослаблена. Подобно тому как древний человек или ребенок принимает за действительность видимость солнца, идущего по небу, подобно тому как параноик принимает за действительность свои галлюцинации и постепенно вплетает их в более или менее правдоподобную теорию, так и спящий, по-видимому, пускает в ход все самые острые силы спящего разума, какие у него есть, чтобы построить теорию в пользу действительности видений умершего друга.

Порой бывают нетипичные сны о мертвых, в которых даже с самого начала почти нет столкновения или сомнения. Когда видение так легко принимается, оно иногда становится источником утешения, радости и даже религиозной веры, которые могут сохраняться и наяву. Шабанекс, например, записал сновидческие переживания поэта и философа, глубоко привязанного к женщине, с которой его соединяли отношения одновременно страстные и духовные. Начиная с ночи после ее смерти, время от времени, ему снилась любимая женщина — сначала как парящее видение, потом как ясно видимое и осязаемое лицо; эти сны освежали и укрепляли его дух и,

казалось, вновь приводили спящего в общение с умершей подругой.[10]

[10] Шабанекс, *Le Subconscient chez les Artistes, les Savants et les Écrivains*, 1897, с. 45–48. Шабанекс был знаком со многими выдающимися людьми, и поэта-философа хочется отождествить с Сюлли-Прюдомом, тогда еще жившим. В этой связи можно упомянуть и замечательный роман Дюморье «Питер Иббетсон», где описаны подобные же повторяющиеся сны о единении с любимой женщиной после смерти и который, по-видимому, основан на действительном опыте.

Одному священнику я обязан записью несколько сходного переживания. «Когда-то, — пишет он, — меня связывала близкая дружба с дамой несколько старше меня и религиозного склада. Мы часто говорили о жизни за гробом и условились, что, если она умрет первой, — а это казалось более чем вероятным, так как она страдала смертельной болезнью, — она мне явится. Добавлю, что она была натурой нервной и чуткой и, хотя была чистокровной англичанкой, обладала многими душевными чертами кельтов. После ее смерти я ждал какого-нибудь явления или знака, и дня через три мне приснилось, что она вернулась ко мне и обсуждает со мной дело, о котором мне очень хотелось поговорить с ней до ее смерти, но я не смог из-за ее слабости и присутствия чужих людей. Во сне мне было совершенно ясно, что это умершая, вернувшаяся из другой сферы бытия. Несколько недель после этого у меня бывали подобные переживания. Это никогда не были сны о прежней жизни и дружбе до смерти, но всегда — новые появления из иного мира. Конечно, об этом моем опыте могут сказать, что он был лишь следствием ожидания. Но я заметил, что то, что больше всего занимает мой ум, редко становится предметом моих снов. Кроме того, эти сны составили серию, длившуюся неделями, и все были одного характера, хотя разговоры были разные».

Когда человек просыпается в душевном состоянии, соответствующем только что виденному сну, обычно можно с уверенностью предположить, что сон был следствием, а не причиной этого состояния. Однако так бывает далеко не всегда, а в том типе снов, о котором мы здесь говорим, так бывает редко. Пусть даже совершенно верно, что сон вызвало душевное состояние, — столь же верно, что и сам сон в свою очередь может пробудить душевное состояние. Сон о встрече с небесным посетителем, особенно если этот посетитель — любимый друг, не может не производить именно такого действия. Примечательно, что влияние на чувства может сказываться даже тогда, когда самого сна человек не помнит. Так, одна дама, проснувшись утром и не помня, чтобы ей что-то снилось, днем поняла, что чувствует себя так, как обычно чувствовала себя после сна о любимой подруге, и в конце концов смогла припомнить обрывки сна.[11] Человек такого великого ума, как Гете, засвидетельствовал утешительную силу сновидений. «Бывали в моей жизни времена, — сказал он в старости Эккерману, — когда я засыпал в слезах, но во сне ко мне приходили прелестнейшие образы, чтобы утешить и осчастливить меня, и наутро я просыпался снова свежим и бодрым».[12]

[11] Бессознательные внушения сна такого рода походят, как заметил Р. Макдугалл (*Psychological Review*, март 1898, с. 167), на послегипнотические внушения.

[12] Такой тип сновидения — в котором дневное чувство во сне обращается в противоположное: угнетающие чувства уступают место возвышающим и так далее — некоторые авторы (Гризингер, Ломброзо, Санте де Санктис и другие) называют контрастным сном. Сон в таком случае, замечает Санте де Санктис, дополнителен: он имеет то же значение, что дополнительный последовательный образ, и указывает на фазу восстановления, анаболического обновления. Так, А. Уиггем (*Pedagogical Seminary*, июнь 1909) приводит случай двадцатилетней девушки, которой, когда она устала и неспокойна, всегда снятся хорошие сны, а когда она здорова и свободна от забот — дурные. Следует добавить, что у Неке

(«Ueber Kontrast-Träume», *Archiv für Kriminalanthropologie*, 1907) контрастным называется сон, резко противоположный обычному характеру спящего. В таком типе контрастного сна не вполне ясно, тот ли здесь механизм, и контраст порой может быть случайным.

Если окинуть взглядом широкие пространства, мы найдем во многих частях света рассказы и предания о связи живых с мертвыми, удивительно похожие на исследованный здесь типичный сон о мертвых. Так, в Японии, по-видимому, рассказы о возвращении мертвых очень распространены. Лафкадио Хирн приводит один такой рассказ со слов японца, и он очень похож на некоторые встреченные нами сны. «Влюбленный решил покончить с собой на могиле своей милой. Он отыскал ее надгробие, опустился перед ним на колени, молился, плакал и шептал ей о том, что собирается сделать. И вдруг он услышал, как ее голос окликнул его: „Ананта!“ — и почувствовал ее руку на своей руке; он обернулся и увидел ее на коленях рядом с собой, улыбающуюся и прекрасную, какой он ее помнил, только немного бледную. Тогда сердце его так забилось, что он не мог вымолвить ни слова от изумления, сомнения и радости этой минуты. А она сказала: „Не сомневайся: это правда я. Я не умерла. Это все была ошибка. Меня похоронили, потому что родители сочли меня мертвой, — похоронили слишком рано. Но ты видишь, я не умерла, я не призрак. Это я; не сомневайся!“»

Пожалуй, стоит упомянуть, что случай, рассказанный в Четвертом Евангелии (XX, 11–18), — то, что произошло с Марией Магдалиной у гроба Иисуса, — напоминает процесс слияния образов во сне. Она оборачивается и видит, как ей кажется, садовника, но по ходу разговора ее вдруг осеняет, что это Иисус, восставший из гроба. Совсем в другой части света у индейцев сэлиш в Британской Колумбии есть рассказ о человеке, который отправляется в мир духов, чтобы вернуть свою умершую жену;

сделать это можно лишь при особых условиях, и в том числе какое-то время не касаясь ее; если он нарушит эти условия, она исчезает у него в объятиях, и он остается один.[13] Этот рассказ, в свою очередь, не может не напомнить нам почти тождественное греческое предание о том, как Орфей спустился в подземный мир, чтобы вернуть свою умершую жену Эвридику. Если эти мифы и предания не основаны прямо на процессе сновидения, то это возможно лишь по той причине, на которую не без основания указывает школа Фрейда: мифы и предания сами развиваются при помощи того же механизма, что и сновидения.

[13] *Journal of the Anthropological Institute*, июль — декабрь 1904, с. 339.

Вероятное влияние сновидений на зарождение или укрепление древней веры людей в мир духов излагалось не раз. Герберт Спенсер придавал большое значение этому фактору в сложении веры в иной мир, в духов и в богов.[14] Вундт даже считает, что такие сны целиком объясняют происхождение анимизма. Другие писатели, менее тесно связанные с антропологической психологией, рассуждали в том же смысле.[15]

[14] См. Герберт Спенсер, *Principles of Sociology*, 3-е изд., 1885, т. I, гл. X, особенно с. 140, 182, 201, 772. Спенсер полагал, что первым указал на этот фактор в древних верованиях Леббок, а развил его главным образом Тайлор. Это, разумеется, отнюдь не единственный фактор. См. ниже.

[15] Так, профессор Бони (указ. соч.) считает, что сновидения дают единственное разумное объяснение веры в жизнь после смерти. Джуэлл (*American Journal of Psychology*, январь 1905) тоже полагает, что сновидения повинны в неспособности древнего человека представить себе смерть как конец нашей связи с друзьями; он приводит доказательства, весьма знаменательные в этом отношении, того, что дети, увидев умершего во сне живым, и наяву начинают сомневаться в действительности его смерти. Рутс, тоже писавший уже после выхода моей первой статьи (*Experimental-Untersuchungen über Musikphantome*, 1898, с. 438 и след.), считает, что представление о подземном мире основано на снах об ожившем мертвом.

Но хотя эти мыслители в некоторых случаях особо говорили о снах о мертвых, а не только о широко распространенном у древних народов поверье, что во сне душа покидает тело и странствует по земле, они никогда не замечали, что в типичном сне об умершем друге действует особый механизм, вызванный распадом связей в уме во время сна, — механизм, который настойчиво внушает нам, что смерть не ставит непреодолимой преграды возвращению мертвых. Так во сне мертвые становятся неуничтожимыми: их нельзя убить окончательно, напротив, они склонны появляться снова, со все яснее утверждаемой жизненной силой. Сны такого рода, несомненно, приходили к людям с тех пор, как существуют люди. Если и сегодня их действие на чувства велико, легко поверить, что оно было гораздо больше в древние времена, когда жизнь во сне и то, что мы называем действительной жизнью, различались с меньшим трудом. Отголоски сновидений этого рода на протяжении неисчислимых веков не могли в конце концов не сказаться на преданиях рода человеческого.

ГЛАВА IX. ПАМЯТЬ В СНОВИДЕНИЯХ

✦

Кажущаяся быстрота мысли во сне — Это явление во многом объясняется тем, что сон есть описание картины — Переживания утопающих — Чувство времени во сне — Сминание сознания во сне — Возвращение утраченных воспоминаний при ослаблении внимания — Всплывание во сне воспоминаний, неизвестных бодрствующей жизни — Припоминание во сне забытых языков — Искажения памяти во сне — Парамнестические ложные воспоминания — Гипнагогическая парамнезия — Сны, принятые за действительные события — Явление ложного воспоминания — Его связь с эпилепсией — Его распространенность, особенно среди людей с богатым воображением и нервным истощением — Теории, предложенные для его объяснения — Следствие усталости — Обусловлено недостатком внимания и апперцепции — Ложное воспоминание как обращенная галлюцинация.

Особенности памяти в сновидениях — ее изъяны, отклонения, избытки — привлекали внимание с тех пор, как вообще начали изучать сны. Недостаточно убедиться в том, что, проснувшись, мы можем вполне доверять своему воспоминанию о сне в тех пределах, в каких оно простирается. Свойства памяти, обнаруживающиеся внутри воспроизведенного сна, порой казались столь необычайными, что объяснить их, казалось, можно было лишь вмешательством сверхъестественного.

Задачу, которая одно время очень занимала ученых, изучавших сновидения, ставит с самого начала кажущаяся необычайная быстрота процесса сновидения — то, что в краткий промежуток времени громоздится множество соединенных между собой

воспоминаний. Рассказывали о людях, которых будили звуки или прикосновения, должные разбудить их почти мгновенно, и которые тем не менее успевали пережить сложные видения, вызванные, очевидно, только тем раздражением, от которого они проснулись. Знаменитым стал сон Мори: когда его разбила упавшая ему на шею часть карниза кровати, ему привиделось, что он живет во времена Террора и после многих приключений его ведут на гильотину.[16]

[16] Полезно помнить, что этот сон приснился Мори в студенческие годы, задолго до того как он начал изучать сновидения, и (как указал Эггер) был, вероятно, записан лишь через тринадцать лет. Уже по одному этому он не может служить серьезным доводом.

Бесспорно, сны иногда вызываются чувственными раздражениями, которые почти тотчас будят спящего. Но предположение, будто этот довольно обычный факт означает необычайное ускорение, с каким образуются мысленные образы, происходит от непонимания условий, в которых протекает душевная деятельность во сне. Если бы человек совсем не спал и его вдруг испугал таинственный голос за окном или за дверью, он пришел бы к объяснению звука и даже составил бы план действий по меньшей мере так же быстро, как тогда, когда раздражение приходит во сне. Разница в том, что во сне обычные мысленные связи более или менее бездействуют, и потому путь для новых связей легко открыт. Эти новые связи, когда мы оглядываемся на них с точки зрения бодрствующей жизни, кажутся нам такими причудливыми, такими натянутыми, что мы думаем: чтобы их вообразить, нужно было много времени. Мы не понимаем, что в условиях мышления во сне они возникли так же автоматически и так же мгновенно, как обычные душевные спутники внешнего раздражения в бодрствующей жизни. Надо помнить и то, что во

всех случаях, когда быстрота процесса сновидения казалась такой необычайной, речь шла лишь о зрительных образах, а ведь совсем легко в одно мгновение увидеть сложную картину или ряд картин, описание которых заняло бы много времени.[17] Самое большее, спящий видит нечто вроде кинематографической драмы, сжатой и слитой во многом так, как это делает мастер кинематографа: хотя кажется, что вся история показана в непрерывном движении, на деле действие многих часов сжато в мгновения. Далее, всегда надо помнить, что во сне, как и наяву, сильное чувство влечет за собой утрату чувства времени. Мы говорим, что в страшную минуту мгновения казались годами, и когда спящее сознание раздувает пустячное раздражение в повод для великого потрясения, неизбежно возникает тот же эффект.

[17] Как заметил однажды сэр Сэмюэл Уилкс («On the Nature of Dreams», *Medical Magazine*, февраль 1894), «спящий лишь создает мысленную картину, а ее описание называет своим сном».

Точно такую же иллюзию переживают люди, спасенные из воды или из других опасных положений. Иногда им кажется, что за эти краткие мгновения перед ними в видении прошла вся их жизнь. Но тщательное исследование некоторых таких случаев, особенно Пьероном, показало, что на самом деле перед умом тонущего вставала сцена из детства, быть может какого-нибудь похожего происшествия, а за ней следовали пять, шесть, а то и десять или двенадцать мгновенных сцен из позднейшей жизни. Когда учли время, за которое эти сцены промелькнули в уме, оказалось, что никакой особенной быстроты мысли не было.

Такие соображения привели теперь большинство ученых, исследующих сновидения, к тому, что эти задачи памяти во сне можно считать решенными. Наблюдения Вудворта над гипнагогическим, или полусонным, состоянием не обнаружили

никакой примечательной быстроты душевных процессов. Клавьер опытами с будильником, который звонил дважды с промежутком в двадцать две секунды, показал, что сны с речью, во всяком случае, протекают лишь с обычной быстротой или даже несколько медленнее, чем наяву. Образы сна, заключил Клавьер, не быстрее образов бодрствующей жизни, хотя спящему может казаться, что они длятся часы или дни. Скорее они замедлены, чем ускорены, говорит Пьерон, ссылаясь на соответствующую иллюзию под действием таких средств, как гашиш, хотя в некоторых случаях он находит, что ускорение действительно есть, но небольшое. Иллюзия объясняется просто, думает Фуко, тем, что спящий верит, будто события его сна занимают столько же времени, сколько действительные события. Эта иллюзия времени, заключает доктор Жюстина Тоболовская в своей парижской диссертации на эту тему, — просто необходимое и постоянное следствие той формы, которую принимает душевная жизнь во сне.[18]

[18] Эггер, «La Durée apparente des Rêves», *Revue Philosophique*, январь 1895, с. 41–59; Клавьер, «La Rapidité de la Pensée dans le Rêve», там же, май 1897, с. 509; Пьерон, «La Rapidité des Processus Psychiques», там же, январь 1903, с. 89–95; Фуко, *Le Rêve*, с. 158 и след.; Тоболовская, *Étude sur les Illusions du Temps dans les Rêves du Sommeil Normal*: Thèse de Paris, 1900.

Если эту особенность памяти во сне нетрудно объяснить как естественную иллюзию, то есть и другие, более редкие свойства памяти во сне, гораздо более загадочные.

Распутывая их, вероятно, следует, как и при объяснении иллюзии быстроты, постоянно помнить о склонности групп воспоминаний во сне отпадать от своих бодрствующих связей, а также о дополняющей ее склонности образовывать связи, которые наяву давались бы лишь напряженным усилием.

Апперцепция с ее способностью соединять и сводить в фокус все различные группы воспоминаний, относящиеся к делу, ослаблена. Фокус сознательного внимания сужен, и наблюдается любопытное и знаменательное явление: спящее сознание порой не сознает душевных элементов, которые тем не менее присутствуют тут же, за его пределами, и вталкивают образы в его фокус. Образы становятся сознательными, но их отношение к существующему фокусу сознания сознательно не воспринимается. Такой душевный механизм, как показали Фрейд и его ученики, нередко появляется при истерии и неврозах навязчивых состояний, когда здоровое нормальное сознание опускается до болезненного уровня, напоминающего тот, что во сне нормален.[19] В таком случае поверхность спящего сознания как бы сминается, и скрытая ее часть появляется лишь в конце сна или вовсе не появляется. Простой пример пояснит это. Во сне я спрашиваю одну даму, знает ли она произведения поэта Бо; она отвечает, что не знает; затем я вижу перед собой бумагу с написанным на ней именем «Бодлер» — ясно, это имя и должно было стоять в моем вопросе.[20] В таком сне сминание и разрыв сознания в самом его фокусе видны совершенно безошибочно.[21] Но многие из самых замечательных сновидений людей, наделенных драматическим даром, вызваны тем же явлением, которое в умственной форме есть в точности то самое явление, что всегда делает драматическое положение действенным. Роберт Луис Стивенсон видел необыкновенно яркие сны и находил в них зародыши некоторых сюжетов своих повестей; он описал один из своих снов, в котором спящему кажется, что он совершил убийство; о преступлении узнает женщина, которая, однако, так и не выдает его; убийца живет в ужасе и не может понять, почему женщина продлевает его муку, медля предать его правосудию; лишь в конце

сна приходит ключ к загадке и объяснение поведения женщины, когда она падает на колени и восклицает: «Неужели вы не понимаете? Я люблю вас».[22]

[19] Так, Фрейд рассказывает (*Jahrbuch für Psychoanalytische Forschungen*, т. I, ч. II, с. 387) о человеке, одержимом мыслью, что никогда нельзя отдавать деньги, не почистив их тщательно, — из страха заразить других людей, — и совершенно не подозревавшем, что эта навязчивая мысль выросла из раскаяния в собственных грехах половой нечистоты. В таком случае, разумеется, есть не только сминание сознания, но и явное смещение и перенос его частей.

[20] Здесь мы видим также любопытную диссоциацию двигательного (речевого) центра и зрительного центра; в этом случае ближе к фактам оказывается последний.

[21] Сон со словом «selvdrolla», приведенный в одной из прежних глав, показывает то же самое, с той разницей, что смятая часть сознания так и не стала видимой во сне.

[22] Р. Л. Стивенсон, «A Chapter on Dreams», в книге *Across the Plains*, 1892.

Есть и другой, очень интересный разряд сновидений, в которых мы видим не только то, что некоторые группы воспоминаний исчезают из сознания или становятся лишь скрытыми, но и то, что другие группы воспоминаний, скрытые или даже утраченные для бодрствующего сознания, всплывают в фокус спящего сознания. Иными словами, во сне мы можем вспомнить то, что забыли наяву. Тогда перед нами то, что называют гипермнезией сна, то есть чрезмерной или необычной памятью.

Едва ли можно сомневаться, что эти два процесса — погружение одних групп воспоминаний и всплывание на поверхность других, которые, насколько это касается бодрствующей жизни, по-видимому, опустились на дно и утонули, — дополняют друг друга. Мы вспоминаем то, что забыли, потому что забываем то, что помнили. Порядок наших бодрствующих впечатлений предполагает некоторое напряжение, иначе говоря,

некоторое внимание, которое удерживает их в сознании и исключает всякий другой порядок, способный вывести на свет утраченные группы воспоминаний. Иногда мы сознаем утраченное воспоминание, которое находится тут же, за пределами сознания, но которое при существующем порядке наших групп воспоминаний мы не можем ввести в сознание. Недостающее имя, недостающее воспоминание, как мы говорим, вертится у нас на языке, но мы никак не можем его поймать.[23] Во сне апперцепция ослаблена, напряжение сознательного внимания ослабевает, и создаются условия, при которых в действие могут вступить новые нити и новые течения, и недостающее имя само собой скользнет в сознание. Того же может достичь даже одно лишь приближение сна с сопутствующим ему ослаблением внимания. Так, однажды днем я пытался вспомнить название неприятного китайского благовония — пачули. Название, хотя обычно и знакомое мне, ускользало. Ночью, однако, перед самым засыпанием, оно само пришло мне на ум. Утром, совсем проснувшись, я снова не мог его вспомнить. В таком случае мы видим, как бодрствующее сознание напряжено в определенном направлении, а это направление оказывается не тем, в котором можно найти искомое. Внимание при таких обстоятельствах скорее мешает припоминанию, чем помогает ему. В этом случае я был убежден, что нужное мне название начинается с *h*, и потому мой ум был упорно направлен не в ту сторону. Но с приближением сна внимание само собой ослабевает, и тогда забытое слово может проскользнуть с неожиданной стороны. В таких случаях направление находится окольным путем.[24]

[23] В большинстве случаев недостающее воспоминание, дав о себе знать за пределами сознательной области, достигает ее, по-видимому, не столько собственным самопроизвольным бессознательным движением, сколько через

пробный поиск ключей. Так, однажды я прочел слова «маленький черный бесенок разбил кубок» и тотчас ощутил, что мне это напоминает нечто похожее из недавнего опыта, но не мог сказать, что именно. Я спросил себя, не было ли это во сне. Однако через несколько мгновений ко мне вернулось воспоминание о том, что два часа назад я заметил разбитую вазу и мимоходом подумал, как она могла разбиться. При таких обстоятельствах мы некоторое время думаем о чем-то и все же не знаем сознательно, о чем думаем.

---

[24] Джастроу замечает в том же роде (*The Subconscious*, с. 93), что «ослабление усилия, сосредоточение ума на точке, лежащей немного или даже далеко в стороне от точки фиксации, заметно помогает мысленному зрению». Процесс этот, однако, по-видимому, действеннее всего, когда он автоматичен, потому что внимание не может легко ослабить собственное напряжение. Многие открытия и разрешения трудностей, совершающиеся во сне, обязаны своим появлением именно этому рассеянию внимания по более широкому полю, позволяющему обнаружить недостающую связь. См., например, некоторые случаи, записанные Ньюболдом (*Psychological Review*, март 1896, с. 132), — как случай ассириолога доктора Гильпрехта, который во сне обнаружил, что два обломка табличек, которые он тщетно пытался расшифровать, на самом деле части одной и той же таблички.

Интересно отметить, что тот же процесс открытия, вызванный более широким охватом ослабленного внимания, может происходить не только во сне и в гипнагогическом состоянии, но и подсознательно — в состоянии полного бодрствования, когда ум занят каким-нибудь другим предметом. Так, читая рукопись, я наткнулся на неразборчивое слово, которое не мог распознать, несмотря на несколько догадок и тщательное рассматривание в лупу. Я пошел дальше, выбросив этот вопрос из головы. Через четверть часа, гуляя и думая совсем о другом, я заметил, что в поле моего мысленного зрения всплыло слово «ceremonial», и тотчас понял, что это и есть нераспознанное слово. Пример, может быть, пустячный, но ни один пример не мог бы лучше показать, как ум может продолжать подсознательно работать в одном направлении, сознательно работая в совсем другом.

Во сне, однако, мы можем сделать больше, чем просто вернуть воспоминания, на время ускользнувшие от нас, или открыть связи, от нас ускользавшие. Распад привычных групп воспоминаний становится столь полным, появление непривычных групп столь бурным, что мы можем вспомнить то, что совершенно и навсегда опустилось ниже поверхности бодрствующего сознания, или даже то, что так незначительно, что вообще не оставило никакого следа в бодрствующем сознании. Так, в известном смысле, можно сказать, что мы вспоминаем то, чего никогда не знали.

Первым сном, который лет двадцать назад позволил мне понять эту гипермнезию ума во сне,[25] был следующий маловажный, но поучительный случай. Я проснулся, припоминая главные подробности довольно яркого сна: мне привиделось, что я в большом старом доме, где мебель, хотя и добротная, была ветхой, и стулья грозили подломиться, когда на них садились. Дом принадлежал некоему сэру Питеру Брайану, бодрому старому джентльмену, при котором были его сын и внук. Речь шла о том, чтобы я купил у него этот дом, и я рассыпался в комплиментах моложавому виду старого джентльмена, шутливо притворяясь, будто не знаю, кто из них дед, а кто внук. Проснувшись, я сказал себе, что это был чисто фантастический сон, ничем определенным из опыта не подсказанный. Но когда я начал припоминать мелкие происшествия предыдущего дня и то, что видел и читал, я понял, что это далеко не так. Сон вовсе не был чистым творением воображения: я обнаружил, что каждую мельчайшую подробность можно возвести к какому-нибудь отдельному источнику, хотя ни один из них ни в малейшей степени не походил на сон в целом. Только имя сэра Питера Брайана совершенно поставило меня в тупик: я не мог даже вспомнить, слышал ли я к тому времени

вообще о ком-нибудь по имени Брайан. Я бросил поиски и записал сон и его источники. Едва я это сделал, как мне случилось взять в руки том жизнеописаний чудаков, который я небрежно перелистал накануне. Я обнаружил, что в нем среди прочих есть жизнеописания лорда Питерборо и Джорджа Брайана Браммела. Эти имена я, несомненно, видел накануне; и все же, пока я снова не взял в руки книгу, я никак не смог бы вспомнить полное имя Бо Браммела. Случилось так, что забытое воспоминание, вновь всплывшее в этом случае в спящем сознании, было фактом, не имевшим никакого значения ни для меня, ни для кого-либо другого. Но оно дает ключ ко многим сновидениям, которые имели для видевших их гораздо более серьезное значение.

[25] Гипермнезия, или чрезмерная память, встречается в бодрствующей жизни при различных необычных состояниях. Она нередка у гениальных людей; известный пример — Маколей. Однако едва ли она особенно благоприятна для острого ума: умственная машина, засоренная ненужными и маловажными фактами, едва ли может работать без затруднений. «Гипермнезия, — замечает Стоддарт („Early Symptoms of Mental Disease“, *British Medical Journal*, 11 мая 1907), — чаще всего встречается при некоторых случаях идиотии и при некоторых случаях хронической мании. Один такой больной мог перечислить все случаи, когда любой из врачей играл в теннис с тех пор, как больной поступил в лечебницу». Гипермнезию во сне рассматривал Карл дю Прель, *Philosophy of Mysticism*, т. II, гл. I.

С тех пор я смог наблюдать среди своих друзей несколько случаев сновидений, содержавших верные, хотя часто и пустячные обстоятельства, неизвестные спящему наяву, хотя по размышлении оказывалось в высшей степени вероятным, что они попадались ему на глаза и были забыты или замечены не сознательно. Так, один корреспондент-музыкант рассказывает мне, что ему однажды приснилось, будто он играет пьесу Рубинштейна в присутствии друга, который сказал ему, что он ошибся, повторно ударив залигованную ноту. Утром он

обнаружил, что друг во сне был прав. А до тех пор он всегда повторял эту ноту. Обычно, когда забытое или незамеченное обстоятельство пустячно, оно совсем недавнее. Что оно не всегда очень недавнее, может показать мой собственный сон. Мне снилось, что я в Испании и собираюсь присоединиться к друзьям в местечке, которое, как мне казалось, называлось Daraus; но, подойдя к билетной кассе, я не мог вспомнить, называется ли место, куда мне нужно, Daraus, Varaus или Zaraus, — все эти места, как мне казалось, действительно существовали. Проснувшись, я записал сон точно так, как он здесь изложен, но не мог вспомнить никакого места — ни в Испании, ни где-либо еще, — которое соответствовало бы хоть одному из этих названий. Сон, казалось, лишь показывал знакомую нам манеру образа сновидения постоянно и бессмысленно смещаться в фокусе спящего сознания. Запись была отложена и через несколько месяцев извлечена вновь.[26] Мне по-прежнему было невозможно вспомнить какое-либо настоящее название, соответствующее названиям из сна. Но, справившись по испанским путеводителям и железнодорожным расписаниям, я обнаружил, что на линии между Сан-Себастьяном и Бильбао действительно есть маленький приморский курорт в прекрасной местности под названием Zarauz, и понял к тому же, что на самом деле проезжал мимо этой станции в поезде за двести пятьдесят дней до своего сна.[27] Никаких связей с этим местом у меня не было, хотя, быть может, я и полюбовался им тогда; во всяком случае, оно навсегда исчезло из сознательной памяти, чему, быть может, помогла усталость после долгой ночной дороги перед въездом в Испанию. Даже спящая память, замечу, вернула его лишь с усилием: примечательно, что к названию она приближалась постепенно, в три последовательные попытки.[28]

[26] Эту отсрочку стоит упомянуть, потому что можно себе представить, что в случае слабого воспоминания переход в подсознательную сферу сна может повлечь за собой временное исчезновение из сознательной бодрствующей сферы.

[27] Точная продолжительность промежутка, возможно, представляет интерес. Свобода (*Die Perioden des menschlichen Organismus in ihrer psychologischen und biologischen Bedeutung*, 1904) полагает, что возвращение воспоминаний склонно подчиняться закону периодичности, так что, например, мелодия, услышанная на концерте, может возвращаться через правильный промежуток. Не могу сказать, чтобы сам я находил свидетельства такой периодичности, хотя сделал несколько наблюдений над возвращением подобных воспоминаний.

[28] Подобным же образом Фуко (*Le Rêve*, с. 79) записывает сон одной дамы о месте под названием Бретиньи близ Дижона, хотя наяву она не знала, что такое место там есть. В другом месте (с. 214) Фуко приводит также примеры ощущений, не воспринятых сознательно наяву, но оживших во сне. Бони в своем интересном «Contribution à la Psychologie du Rêve» (*American Journal of Psychology*, июль — октябрь 1903) рассказывает собственный сон, в котором ожило забытое или бессознательное воспоминание. Таких снов легко можно собрать много. Часто приводимый сон, по-видимому, этого рода (см., например, *British Medical Journal*, 7 апреля 1900, с. 850) — сон архиепископа Бенсона, который, подобно своему предшественнику Лоду, интересовался своими снами. Ему снилось, что у него сильно болит грудь и что приглашенный врач сказал ему, что у него angína pectoris. Архиепископ во сне с негодованием воскликнул: «Ángina, ángina!» Сон произвел на него такое впечатление, что он навел справки, но нашел лишь обычное произношение — angína. Через неделю он был в Кембридже, обедал в зале Тринити-колледжа и сидел рядом с Манро, профессором латыни, который случайно спросил его о смерти Томаса Арнольда. «Он умер от angína pectoris», — сказал Бенсон. Манро мрачно улыбнулся и тихо сказал: «От ángina, как мы теперь говорим». Нет никакого сомнения, что Бенсон, тесно связанный с университетским миром, встречал эту поправку, принятую всеми нынешними латинистами, и «забыл» ее.

Особую форму утраченных или бессознательных воспоминаний, возвращающихся во сне, составляют случаи, когда люди во сне или в сомнамбулическом состоянии могут говорить на языках, которые наяву забыли или никогда сознательно не знали. Простой пример, известный мне, дает служанка, которую за полгода до того на несколько недель брали в Париж; она так и не

выучилась ни слову по-французски, но хозяйка услышала, как она разговаривает во сне и повторяет разные французские фразы вроде «Je ne sais pas, Monsieur»; эти фразы она, несомненно, слышала, хотя наяву утверждала, что их не знает. Речь на языке, сознательно не известном, или ксеноглоссия, как ее теперь называют, встречается при различных необычных состояниях, а не только во сне, и иногда ее относят к той склонности, которая наблюдается особенно при сильном религиозном воодушевлении, — «говорить языками», то есть издавать речь, не похожую ни на один язык.[29] Но в различных сноподобных состояниях она проявляется как настоящее оживление забытых воспоминаний, порой воспоминаний детства, давно погребенных и утраченных для обычного сознания. Однажды у постели дамы, которую довольно долго держали в легком хлороформном наркозе, больная заговорила на незнакомом языке, в котором один из нас узнал валлийский; ребенком, как она потом призналась, она знала валлийский, но давно его забыла.[30] Подобное воспроизведение утраченных воспоминаний происходит и в гипнотическом состоянии.

[29] И ксеноглоссию, и склонность к такой непохожей ни на один язык речи относят к глоссолалии. См., например, Э. Ломбар, «Phénomènes de Glossolalie», *Archives de Psychologie*, июль 1907.

[30] В XVIII веке лорд Монбоддо (*Ancient Metaphysics*, т. III, 1782, с. 217) упоминал некую графиню де Лаваль, которая в бреду во время болезни говорила на бретонском языке, знакомом ей в детстве, но давно забытом.

Этот душевный процесс, при котором бессознательные воспоминания становятся во сне сознательными, представляет немалый интерес и значение, потому что легко ведет к заблуждениям. Не только люди простые и без образования, но даже хорошо подготовленные и острые умы часто так мало

искушены в разборе душевной жизни, что совершенно не в силах проникнуть под явление сознательного незнания к более глубокому факту бессознательной памяти; они либо оказываются в полном недоумении, либо прибегают к самым смелым гипотезам. Это показывает следующий рассказ, полученный двенадцать лет назад от корреспондента-врача из Балтимора. «Несколько лет назад, — пишет он, — ко мне в гости зашел друг и в разговоре восторженно отзывался о „Сельской чести“ Масканьи, первое представление которой в Соединенных Штатах он посетил несколькими вечерами раньше. Я никогда даже не слышал об этой опере, но в ту же ночь мне приснилось, что я слушаю ее исполнение. Сон был очень яркий, настолько яркий, что на следующий день я несколько раз ловил себя на том, что напеваю арии из оперы, слышанной во сне. Несколько вечеров спустя я пошел в театр на комедию, и перед поднятием занавеса оркестр сыграл попурри, в котором я тотчас узнал часть оперы из моего сна. Я воскликнул, обращаясь к даме, которая была со мной: „Это попурри из «Сельской чести»“. Когда справились у дирижера оркестра, так и оказалось». Но в то время, вскоре после первого появления «Сельской чести», отрывки из нее стали чрезвычайно популярны и звучали повсюду, отнюдь не только на оперной сцене. Трудно было ничего из нее не слышать. Не может быть ни малейшего сомнения, что мой корреспондент слышал не только название, но и музыку, хотя, рассказывая о случае спустя несколько лет, он, вероятно, преувеличил объем своих бессознательных воспоминаний. Таково, по-видимому, простое объяснение того, что моему корреспонденту казалось необъяснимой тайной. Другие люди, как покойный Фредерик Гринвуд, не желая оставаться в недоумении, идут дальше и считают такие сны «снами откровения», как считают они и тот

разряд снов, в которых спящий находит разрешение трудности, с которой тщетно бился наяву.

Такие сны снились во все века и порой приписывались божественному вмешательству. Шестнадцать веков назад епископ Синезий Птолемаидский писал, что в пору, когда он охотился, сон открыл ему устройство ловушки, которую он успешно применял для ловли зверей, а в наше время изобретения, сделанные во сне, успешно патентуются. Преподобный Неемия Карнок, недавно сумевший расшифровать «Дневник» Уэсли, заявил, что важный недостающий ключ к шифру пришел к нему во сне. Один мой друг, знаток химии, не так давно часто переписывался с одним фабрикантом-практиком, помогая ему в его изобретениях научными советами. Однажды фабрикант написал моему другу, спрашивая, не думал ли тот о нем ночью: его очень мучило одно затруднение, и ночью ему явился в видении мой друг и объяснил, как его разрешить; утром предложенное решение оказалось удачным. Телепатии, однако, в этом случае не было: решение, найденное во сне, принадлежало самому спящему.

Любопытную группу случаев в этом разряде составляют сны, в которых спящий, вопреки своему суждению наяву, видит, как знакомый, которому он доверяет, поступает недостойно этого доверия, а последующие события доказывают, что оценка, сложившаяся во сне, была вернее оценки бодрствующей жизни. Готорн (в своих «Американских записных книжках»), Гринвуд, Джуэлл и другие записали случаи такого рода.

Как ни разнообразны эти явления, все они укладываются в одну схему. Все они помогают показать, что, хотя с одной стороны душевная жизнь во сне слаба и ущербна, с другой стороны она обнаруживает склонность к мощному избытку. Сон, как мы знаем, означает ослабление напряжения, и телесного, и душевного:

внимание уже не сосредоточено на нарочно выбранной точке.[31] Поле произвольного сужается, но поле непроизвольного расширяется. Так и выходит, что содержимое нашего ума складывается в новый порядок — порядок, часто причудливый, но иногда, с другой стороны, более естественный и даже более разумный, чем тот, которого мы достигаем наяву. Наши глаза закрываются, мышцы ослабевают, поводья выпадают из рук. Но бывает, что лошадь знает дорогу домой даже лучше, чем знаем ее мы сами.

[31] Сходным образом во время сна могут исчезать мышечные сокращения у истеричных больных, как и их параличи, потери чувствительности и провалы памяти. (Эти явления особенно наблюдали и изучали Раймон и Жане, *Névroses et Idées Fixes*, т. II.) Такие особенности сна истеричных больных вполне могут быть проявлением той же склонности, которая во сне нормальных людей ведет к гипермнезии. В этой связи можно сослаться на интересное противопоставление внимания и памяти, развитое доктором Марией де Манасеиной («De l'antagonisme qui existe entre chaque effort de l'attention et des innervations motrices», *Atti dell' XI Congresso Internazionale Medico*, 1894, Рим, т. II, «Fisiologia», с. 48). Сосредоточенное внимание, утверждает она, парализует память, и между двигательной иннервацией, то есть действительным движением, которое благоприятствует памяти, и сосредоточенным усилием, которое благоприятствует вниманию, существует полная противоположность. «В психологических исследованиях мы всегда должны отделять явления памяти от явлений внимания, потому что память возможна лишь благодаря мышечному движению, а внимание, напротив, действует лишь благодаря подавлению движения». Во сне, правда, действительного движения может и не быть, но есть ослабление мышечного напряжения и свобода двигательных представлений. Следует добавить, что не все исследователи подтверждают вывод Манасеиной о противоположности условий памяти и внимания. Так, Р. Макдугалл («The Physical Characteristics of Attention», *Psychological Review*, март 1895), находя, что припоминание сопровождается мышечным расслаблением, находит также — хотя не так отчетливо и постоянно — подобное же расслабление, сопровождающее и произвольное, и самопроизвольное внимание.

Гипермнезия, или необычно широкий охват припоминания, — не единственное и не самое обычное изменение памяти во сне.

Гораздо чаще, и притом как одну из главных особенностей сна, мы находим необычно узкий охват припоминания. Мы находим также — и, быть может, как следствие этого узкого охвата — парамнезию, или искажение памяти. Самая известная форма парамнезии — та, при которой у нас возникает иллюзия, будто событие, происходящее с нами в данную минуту, уже происходило с нами прежде.[32]

[32] Термин «парамнезия» ввел Крепелин, написавший первое обстоятельное исследование этого предмета, хотя он и не предложил объясняющей теории («Ueber Erinnerungsfälschungen», *Archiv für Psychiatrie*, Bd. XVII и XVIII). Очень ясный и полный обзор предмета на время выхода статьи дал У. Г. Бернхем («Paramnesia», *American Journal of Psychology*, май 1889). На следующих страницах, наряду с большим количеством нового материала, я воспользовался своей статьей «A Note on Hypnagogic Paramnesia», напечатанной в *Mind*, т. VI, № 22, в 1896 году.

Эта форма парамнезии обычна во сне, хотя часто она так слабо выражена, что мы либо не вспоминаем ее, проснувшись, либо не придаем ей никакого значения.[33] Мне снится, например, что я иду по дорожке, по которой, как мне кажется, ходил уже не раз, и что дорожка огибает лужайку у дома, возле которого стоит полицейский, которого, как мне тоже кажется, я не раз видел здесь прежде; полицейский подходит ко мне и говорит: «Вы пришли к мистеру Такому-то, сэр?» — и тут я вдруг с некоторым смущением вспоминаю, что пришел к мистеру Такому-то, и иду к двери. Или вот автору снится, что он видит список своих книг, а во главе его — книгу под названием «Книга славы». Он не мог вспомнить, чтобы писал ее (и для бодрствующего сознания это название было совершенно неизвестно), но единственное, что он подумал во сне, было: «Как глупо было это забыть!» В этом случае, очевидно, было некоторое сопротивление внушению, которое все же быстро было принято. Во всех таких снах мы, по-видимому,

находимся в состоянии умственной слабости, связанной с ослабленным апперцептивным контролем и чрезмерной внушаемостью, — состоянии, очень похожем на то, что наблюдается при некоторых формах помешательства со спутанностью сознания или раннего слабоумия.[34] Сознание бессильно скользит по пути наименьшего сопротивления; оно принимает всякое внушение; предметы, которые ему представляются, кажутся ему знакомыми прежде, то, что ему внушают сделать, кажется тем, что оно и прежде хотело сделать. Парамнезия, рассматриваемая так, оказывается просто естественным следствием состояния сознания, временно опустившегося ниже своего обычного уровня бодрости.

[33] Психологи давно признают, что парамнезия бывает во сне. Так, Бернхем говорит о ней как о частом явлении, а Крепелин упоминает, что ему однажды приснилось, будто он курит сигару в четвертый или пятый раз, хотя он никогда в жизни не курил.

[34] Например, при алкогольном помешательстве, особенно когда оно ведет к появлению корсаковского синдрома, наблюдается заметная степень умственной слабости со склонностью к ложным воспоминаниям — как в форме конфабуляции (то есть заполнения пробелов памяти воображением), так и в форме ложного воспоминания. (См., например, Джон Тернер, «Alcoholic Insanity», *Journal of Mental Science*, январь 1910, с. 41.)

Надо помнить, что внушаемость спящего сознания различна по степени, и перед лицом серьезных неправдоподобий оно часто оказывает значительное сопротивление, подобно тому как загипнотизированный всерьез сопротивляется внушениям, которые в корне противны его природе. Но некоторая степень внушаемости, некоторая склонность считать то, что предстает перед нами во сне, знакомым — иначе говоря, тем, что с нами уже случалось, — не просто естественное следствие ослабленной апперцепции, а одно из самых условий сновидения. Она позволяет

нам продолжать сновидение; без нее его ход был бы роковым образом задержан сомнением, неуверенностью и борьбой. Так, быть может, и выходит, что во всяком сновидении или по крайней мере на определенных ступенях спящего сознания мы склонны впадать в состояние ложного воспоминания.

Интересен и весьма знаменателен тот факт, что это парамнестическое заблуждение наших снов — чувство, что происходящее с нами уже происходило прежде или может произойти снова, — склонно сохраняться и в гипнагогической (или гипнопомпической) стадии, непосредственно следующей за сном. Когда мы наполовину проснулись после сна и едва способны понять, что это был сон, этот сон постоянно склонен представляться в более правдоподобном или вероятном свете, чем это возможно несколькими мгновениями позже, когда мы совсем проснемся.[35]

[35] Доктор Мария де Манасеина, подробно изучавшая явления гипнагогического состояния опытным путем (*Sleep*, с. 195–220), находит, что в самой глубокой своей стадии оно отмечено эхолалией, то есть склонностью автоматически повторять сказанное, а в менее глубокой — необычной внушаемостью, то есть склонностью принимать мысли и особенно чувства. Она считает, что гипнагогическое состояние становится ненормальным, когда длится дольше пятнадцати секунд. Оно может длиться дольше шести минут, и тогда это серьезный признак. Она приводит основания полагать, что гипнагогическое состояние по существу тождественно гипнотическому, и считает, что оно вызвано, вероятно, малокровием мозга. Она находит его особенно выраженным у детей до пятнадцати лет, тем более если они из рабочего класса, и довольно обычным у девушек-подростков и молодых женщин, особенно малокровных, но у взрослых — более редким у женщин, чем у мужчин, причем с возрастом оно учащается у обоих полов; флегматики подвержены ему больше, чем сангвиники или нервные люди.

Первое переживание, которое позволило мне ясно понять это явление и его вероятное объяснение, случилось много лет назад. Около полуночи мне приснился очень яркий сон: мне

привиделось, что двое друзей — джентльмен и его дочь — вместе с неким лордом Честерфилдом (я незадолго до того читал «Письма» знаменитого лорда Честерфилда) находятся в гостинице, что они забавляются оружием, что дама нечаянно убила или ранила лорда Честерфилда и затем поменялась с ним одеждой, чтобы бежать и избежать разоблачения, которое почему-то было бы опасным. Меня известили об этом деле, и я был очень встревожен. Я проснулся, и моя первая мысль была, что мне только что приснился любопытный сон, который нельзя забыть до утра. Но затем мне показалось, что я вспоминаю, будто это действительное и знакомое мне событие. Эта вторая мысль усыпила мою умственную деятельность, и я снова заснул. Утром я смог припомнить главное в своем сне и свои мысли при пробуждении от него.

С тех пор я обращал на это внимание и, припоминая свое полубодрствующее сознание после сновидений, нашел, что если уловить утверждение «Это было на самом деле», бесспорно, удается редко, то смутное утверждение «Такое и в самом деле бывает» ловишь не так уж редко. Я замечаю, что это последнее впечатление, как и первое, возникает после ярких сновидений, в которых нет ничего физически невозможного, но которые вполне проснувшееся сознание отказывается причислить к вероятному. В пример, совсем не похожий на только что описанный, могу привести сон, в котором я воображал, будто доказываю частоту браков между местными жителями, отмечая по адресным книгам, как часто в соседних городах и деревнях встречаются люди с одной и той же фамилией. Полупроснувшись, я все еще верил, что действительно был занят такой работой, — то есть либо что сон был явью, либо что он относился к действительному событию, — и лишь проснувшись настолько, чтобы распознать негодность

подобного способа исследования, понял, что это был всего лишь сон.

Явление это известно давно, хотя значение его не было понято. Бриер де Буамон указал, что некоторые яркие сны не распознаются как сны, а после пробуждения принимаются за действительность, хотя он едва ли признавал, что эта ошибка в норме ограничена гипнагогическим состоянием. Молль сравнивал такие сны, продолженные в бодрствование, с длящимися постгипнотическими внушениями. Салли упоминал о пробуждении от снов, которые «все еще выглядят старыми знакомыми, так что на миг я принимаю их за явь».[1] Колгроув в своем исследовании памяти записал много случаев, когда молодые люди принимали свои сны за действительные события.[2]

[1] Салли, *The Human Mind*, т. II, с. 317. Фуко (*Le Rêve*, с. 300) коротко отмечает, что у него часто бывала иллюзия, будто он помнит несуществующий факт и узнает человека, которого никогда не видел.

[2] Ф. У. Колгроув, «Individual Memories», *American Journal of Psychology*, январь 1899.

Это сохранение иллюзии памяти из сна в последующем гипнагогическом состоянии явно родственно сходному, хотя и более редкому, сохранению зрительных, слуховых и иных чувственных галлюцинаций сна в гипнагогическом состоянии.[3] Видения, перешедшие так из сна на несколько мгновений в бодрствование, часто, как уже говорилось, весьма озадачивают и тревожат людей, не знакомых с подобными явлениями. Такие видения могут возникать в гипнагогическом состоянии и тогда, когда никакого осознанного сна перед ним не было; и в самом деле вероятно, как доказывал Пэриш, что именно в гипнагогическом состоянии — в притворе храма сновидений, как я мог бы его назвать, — галлюцинации возникают всего легче. Что в этом состоянии на миг могут возникать иллюзии, очевидно:

так, задремав на несколько минут перед черным, прогоревшим изнутри камином, где на дне тлеет красная зола, я просыпаюсь с иллюзией, будто вижу горящую занавеску, и уже подаюсь вперед, чтобы сорвать ее, прежде чем понимаю свою ошибку.

[3] О таких случаях у психически здоровых людей см., например: Хак Тьюк, «Hallucinations», *Brain*, т. XI, 1889. Человек с хроническим систематизированным бредом пишет: «По ночам я одержим; то есть я становлюсь приемником посылаемых в меня мыслей, которые превращаются в сны, и не раз сразу после пробуждения, еще в очень пассивном состоянии, я замечал, что кто-то говорит мне на ухо».

В обычных условиях воспоминание о сне, по-видимому, тем легче принять за действительное событие, чем больший промежуток прошел, прежде чем сон вспомнился: такой промежуток затрудняет различение одного рода воспоминаний от другого, если только сон был правдоподобным. Так, профессор Неке записал, что его жене приснилось, будто к ним зашла знакомая, пожилая дама; сон этот, по-видимому, был забыт, пока сорок или пятьдесят часов спустя, когда она проходила мимо дома этой дамы, он не вспомнился, — и лишь с большим трудом ее удалось убедить, что этого не было на самом деле. Когда речь идет о воспоминаниях детства, нередко случается, что мы не можем с полной уверенностью отличить действительные события от того, что, быть может, нам приснилось.

Однако при нормальном телесном и душевном здоровье галлюцинаторное влияние снов, по-видимому, редко выходит за пределы гипнагогического состояния; но всякое расстройство здоровья вообще и мозга в особенности может эту путаницу расширить. Так, в одном случае болезни сердца, окончившейся смертью, больной, хотя здоровым он вовсе не был склонен к видениям и впечатлительности, во время дневного сна стал видеть совершенно разумные сны, которые с большим трудом

отличал от действительных фактов жизни, никогда не будучи уверен, что произошло на самом деле, а что было лишь сном. При расстройствах мозга и нервной системы та же иллюзия становится еще отчетливее. Особенно это заметно при истерии. При некоторых формах душевной болезни, как показали многие психиатры, эта ошибка порой становится постоянной, и сон может войти неотъемлемой и прочной частью в жизнь наяву. Здесь, однако, мы покидаем нормальный мир сновидений и вступаем в область патологии.

При нормальном переходе иллюзии сна в гипнагогическое состояние, которым мы здесь занимаемся, сон обычно представляет возможное, хотя, быть может, и весьма маловероятное событие. Полубодрствующий, гипнагогический ум, по-видимому, обманывается этой жизнеподобной возможностью. Вследствие этого происходит ошибка восприятия, строго сопоставимая с тем ошибочным восприятием, которое в случае внешнего ощущения мы называем иллюзией. В обычной иллюзии вызванное извне ощущение одного рода принимается за вызванное извне ощущение другого рода. Здесь же вызванное изнутри ощущение одного порядка (образ сна) принимается за вызванное изнутри ощущение другого порядка (воспоминание). Следовательно, это явление — душевная иллюзия из группы ложных воспоминаний, и его можно назвать гипнагогической парамнезией.

Процесс этот, по-видимому, представляет известный интерес и может пролить свет на некоторые довольно темные явления. Когда нам удается вспомнить яркий, обычно довольно правдоподобный сон, не имея понятия, когда он приснился, и мы, таким образом, обнаруживаем в себе переживания, о которых не можем с уверенностью сказать, случились ли они наяву или во

сне, — вероятно, здесь вступила в действие эта гипнагогическая парамнезия: полубодрствующее сознание отводит яркий и жизнеподобный сон как старое и знакомое переживание, отправляя его на время в забвение, пока какой-нибудь случай снова не вернет его в сознание, так сказать, с прилипшим к нему обрывком той ошибочной наклейки. Такой парамнестический процесс может, стало быть, помочь объяснить и ту огромную роль, которую, как видели столь многие мыслители начиная с Лукреция, сновидения играли в формировании человеческих поступков и верований. Это средство, благодаря которому жизнь наяву и жизнь во сне как будто сводятся к общему уровню.

Под гипнагогической парамнезией я понимаю ложное воспоминание, возникающее в преддверии сна, но не обязательно перед сном. Введенное Майерсом слово «гипнопомпический» вряд ли необходимо даже ради строгости терминов. Я считаю, что состояние сознания почти одно и то же, наступает ли сон или уходит. В сне о Честерфилде и правда невозможно сказать, «гипнагогическое» это явление или «гипнопомпическое»: в таком случае сумеречное сознание столь же обусловлено уходящим сном, как и наступающим.

Если эту иллюзию памяти в полубодрствующем состоянии можно считать разновидностью парамнезии, перед нами открывается новый горизонт. Не может ли гипнагогическая разновидность пролить свет на общее явление парамнезии, породившее столько необычных и сложных теорий? Думаю, может.

Парамнезия, как мы видели, — так психологи называют галлюцинацию памяти, которую иногда именуют «ложным воспоминанием», а медицинские писатели (особенно связывающие ее с эпилепсией) считают признаком «сноподобного

состояния»;[4] французские же авторы часто называют ее «ложным узнаванием» или *sensation du déjà vu*. Диккенс, который, по-видимому, и сам ее испытывал, описывает ее так в «Дэвиде Копперфилде»: «Всем нам знакомо чувство, которое порою находит на нас: будто то, что мы говорим и делаем, уже было сказано и сделано прежде, в далекое время; будто когда-то, давным-давно, нас окружали те же лица, предметы и обстоятельства; будто мы в точности знаем, что будет сказано дальше, словно вдруг это вспомнили». Иногда кажется, что это прежнее событие могло случиться только в прежнем существовании,[5] откуда у нас, вероятно, и идет, как, по-видимому, первым предположил святой Августин, мысль о метемпсихозе, переселении душ; иногда кажется, что это уже случалось во сне; иногда же испытавший это совершенно теряется в попытках объяснить охватившее его чувство знакомости. Во всяком случае его может охватить тревожное волнение, какого едва ли вызвало бы простое совпадение со сходным действительным прежним переживанием.[6]

[4] Хьюлингс Джексон (*Practitioner*, май 1874; также *Brain*, июль 1888, и *Brain*, 1899, с. 534) применял этот термин к интеллектуальной ауре, предшествующей эпилептическому припадку, и полагал, что само «ложное воспоминание» может указывать на легкий эпилептический приступ у людей, обнаруживающих другие признаки эпилепсии. Гауэрс (*Epilepsy*, 2-е изд., с. 133) также считает «сноподобное состояние» тесно связанным с малыми эпилептическими припадками; того же мнения держится Крайтон-Браун (*Dreamy Mental States*). Следует добавить, что «сноподобное состояние» вовсе не обязательно включает ложное воспоминание; см., например: С. Тейлор, «A Case of Dreamy State», *Lancet*, 9 августа 1890, с. 276, и У. А. Тернер, «The Problem of Epilepsy», *British Medical Journal*, 2 апреля 1910, с. 805. Леруа нашел, что ложное воспоминание в связи с эпилепсией обычно встречается редко.

[5] «Чувство предсуществования, — пишет доктор Дж. Г. Кирнан в частном письме, — часто возникает как следствие обманов памяти при эпилепсии. Случай, на котором Жорж Санд построила свою повесть „Консуэло“, — это описанный в

литературе случай эпилептика, которому во время эпилептических состояний представлялось, будто он живет в далеком историческом прошлом, и память об этом он и в нормальном состоянии сохранял как память о фактах. Я знаю двух теософов, страдающих эпилепсией, которые основывают свою веру в переселение душ на воспоминаниях из периодов своих припадков. По моему мнению, значительная часть видений Сведенборга была случаями обманов памяти».

---

[6] Профессор Грассе («La Sensation du „Déjà Vu“», *Journal de Psychologie Normale et Pathologique*, ноябрь — февраль 1904) считает, что характерным спутником истинного парамнестического проявления служит чувство тоски. Это утверждение слишком категорично. Обычно бывает некоторое душевное волнение, но степень его зависит от темперамента того, кто испытывает это явление. Иногда ощущение ложного воспоминания может сопровождаться, как обнаружил на себе один врач, страдавший эпилепсией (о нем упоминает Хьюлингс Джексон), «легким чувством удовлетворения», как бывает, когда находишь то, что долго искал.

Парамнезия такого рода, по наблюдениям Лаланда,[7] знакома тридцати людям из ста, а Хейманс нашел ее у значительной доли студентов обоего пола. Если принять во внимание население в целом, такие оценки, вероятно, слишком высоки. Это переживание, по-видимому, как отмечали Дюга и другие,[8] посещает образованных людей, и особенно людей выше среднего ума, много работающих головой, в особенности в художественном и эмоциональном труде, в гораздо большей степени, чем флегматичного работника физического труда, не получившего образования.[9] О Диккенсе уже говорилось; многие другие видные писатели упоминали об этом или каком-то родственном чувстве, говоря, что испытывали его, а сэр Джеймс Крайтон-Браун приводит ряд мест из поэтов в доказательство того, что такие явления были им знакомы.[10] Шелли (который, по-видимому, по крайней мере дважды испытывал и галлюцинации) пережил то, что можно счесть случаем парамнезии (он описал его в своих «Рассуждениях о метафизике»), и случай этот интересен для нас

тем, что связывает это явление со сновидениями. Он гулял с другом в окрестностях Оксфорда, как вдруг, свернув за угол проселка, увидел «обычный вид» — ветряную мельницу и прочее, — и ему тотчас показалось, что он помнит, как видел все это когда-то давно во сне. Пять лет спустя, записывая это, он пришел в такое волнение, что не смог закончить рассказ. Действительное сходство «обычного вида» с подобной сценой из сна, даже если допустить, что ее можно было вспомнить спустя долгий промежуток, вряд ли было бы совпадением, способным вызвать волнение. Пробужденное чувство, по-видимому, относит это переживание к разряду парамнестических иллюзий, которые так часто производят особенно яркое впечатление на тех, с кем они случаются.

[7] *Revue Philosophique*, ноябрь 1893.

[8] *Revue Philosophique*, январь 1894.

[9] Хейманс нашел, что студенты, подверженные парамнезии, обычно отличаются способностью к языкам и неспособностью к математике.

[10] Романист Поль Бурже в интересном письме, опубликованном Грассе (в указанной статье), сообщает, что это переживание было для него привычным с тех пор, как он себя помнит, причем возникало оно скорее по поводу услышанного или прочувствованного, чем увиденного, и сопровождалось душевным смятением, подобным тому, что испытываешь во снах об умерших друзьях, которые являются живыми, хотя даже во сне спящий знает, что они умерли. Бурже добавляет, что у него эмоциональный темперамент и что в детстве это явление было выражено сильнее, чем теперь.

Психологи и другие исследователи выдвинули очень много теорий, объясняющих это парамнестическое явление. Самое древнее объяснение, задолго предшествовавшее началу научной психологии, состояло в том, что событие, которое, совершаясь теперь, кажется нам столь поразительно знакомым, действительно случилось с нами в прежнем существовании, много

веков назад; так, Пифагор, по древнему преданию, посетив храм Юноны в Аргосе, узнал щит, который носил много веков назад, когда был Евфорбом и бился с Менелаем под Троей. Гораздо более новая теория впадает в противоположную крайность и утверждает, что все или почти все эти случаи узнавания указывают на действительное, но смутное воспоминание о событиях нашей нынешней жизни, на неясные воспоминания, которые человек не может определенно приурочить. На это объяснение в значительной мере опираются Рибо, Йессен, Зандер, Салли, Бернем и многие другие. Возможно, оно во многом обязано тем, что явление было мало знакомо: Рибо, когда писал свою книгу о болезнях памяти, считал, что описано лишь три или четыре случая, — ведь необычное явление всегда кажется редким, пока его не распознали и не начали целенаправленно искать. Несомненно, эта теория объяснит значительную долю случаев, но не по-настоящему типичные случаи, когда человек непреодолимо убежден, что даже мельчайшие подробности нынешнего переживания уже были пережиты прежде. Мы можем читать новое стихотворение со смутным чувством знакомости, но такое переживание никогда не принимает подлинно парамнестического характера: мы быстро понимаем, что объясняется оно тем, что автор стихотворения попал под влияние какого-то более великого мастера. Единственное переживание, о котором я лично могу сказать, что оно хоть сколько-нибудь приближалось к истинной парамнезии, случилось со мной много лет назад при посещении развалин замка Певенси. Поднимаясь по склону к увитым плющом руинам, залитым ярким солнцем, я испытал странное и стойкое чувство, что это место мне знакомо. Три теории могли бы объяснить это переживание (ибо я воздерживаюсь от того, чтобы включать сюда пифагорейскую теорию, будто я пережил

воспоминание о переживании какого-нибудь возможного предка, пришедшего на этом самом месте из-за Темзы на помощь Гарольду против Вильгельма Завоевателя): 1) что это был случай истинной парамнезии; 2) что меня привозили сюда ребенком; 3) что этот вид входил в серию цветных стереоскопических картинок, знакомых мне с детства и, несомненно, содержавших похожие виды. Я склоняюсь к последнему объяснению. Здесь, как и везде, нет ключей, которые отпирали бы все двери.

Видоизменение теории, по которой ложное воспоминание есть неузнанное действительное воспоминание, предлагает Грассе: он считает, что явление вызвано подсознательным впечатлением, полученным прежде, но достигшим сознания лишь под влиянием нового, сходного впечатления. Эта теория включала бы и оживление образов сна и потому родственна теории Лапи и Мере, согласно которой чувство многих таких людей, будто то, что они переживают теперь, уже случалось прежде во сне, и есть верное объяснение явления.[11]

[11] Поль Лапи, *Revue Philosophique*, март 1894; Шарль Мере, *Mercure de France*, июль 1903; Салли, Таннери и Букола также считали это одним из факторов, объясняющих явление. Фрейд (*Zur Psychopathologie des Alltagslebens*, 1907, с. 122) предлагает видоизменение этой теории и полагает, что ложное узнавание — это воспоминание о бессознательных грезах наяву.

К другому разряду объяснений мы переходим с ранней теорией Уигана, будто такие случаи вызваны двойственностью мозга: два полушария действуют не вполне одновременно. Это довольно упрощенное представление, хотя оно может показаться примерно созвучным более новым теориям. Теорию двойного мозга, где каждое полушарие будто бы способно действовать независимо, одно время привлекали для объяснения многих явлений, но ныне ее уже не считают состоятельной.[12]

[12] Подробную и глубокую критику теории двойного мозга см. особенно в четырех статьях Бонна в *Archives de Neurologie*, март — июнь 1907.

Мы можем оставить эти теории, которые уже основательно разобрали другие, и вернуться к нашей путеводной нити — к состоянию сна и гипнагогическому состоянию. Гипнагогическое состояние есть переход между бодрствованием и сном. Это, следовательно, состояние душевной слабости и внушаемости, несомненно связанное с неравномерным малокровием мозга. Правдоподобное внушение в таких условиях принимается слишком легко. Не возникает ли обычная парамнезия в сходных условиях душевной слабости и внушаемости? Описания парамнестических переживаний научными наблюдателями, которые сознают, как важно точно записать все условия, встречаются редко, но есть некоторые основания думать, что парамнезия действительно возникает в состояниях, вызванных возбуждением, истощением и родственными причинами. Самый ранний случай парамнезии, подробно описанный опытным наблюдателем, — тот, что Уиган описывает как случившийся с ним самим на похоронах принцессы Шарлотты. Перед церемонией он провел несколько беспокойных ночей, а в ночь накануне почти совсем не отдыхал; он страдал от горя, а также от истощения из-за недостатка пищи; он простоял четыре часа и упал бы в обморок, занимая свое место у гроба, если бы не волнение минуты. Когда музыка смолкла, гроб медленно опустился в полной тишине, которую нарушил взрыв горя овдовевшего супруга. «В одно мгновение, — продолжает Уиган, — я ощутил не просто впечатление, а убеждение, что уже видел всю эту сцену прежде, когда-то раньше». Такое состояние вполне можно считать искусственным воспроизведением — посредством чувства, возбуждения и истощения — того состояния, которое просто и

естественно наступает во сне или на его гипнагогической границе.

Частота ложных воспоминаний у эпилептиков — если ее можно считать фактом, — отмеченная различными врачами-наблюдателями, будь то в начале припадка или независимо от какой-либо явной мышечной судороги, может быть значимой в этой связи. Нет серьезных оснований полагать, что ложное воспоминание по-настоящему связано с эпилепсией, и еще меньше — что оно непременно представляет собою малый эпилептический приступ. Но особое, похожее на сон состояние суженного мозгового кровообращения при эпилепсии делает ее благоприятной почвой для парамнезии, как и для галлюцинаторных явлений.[13]

[13] «Эпилепсия, — писал давно Биннс (*Anatomy of Sleep*, 1845, с. 431), — есть болезнь, которая некоторыми своими признаками сильно напоминает ненормальный сон». Условия, при которых парамнестическое проявление действительно может заменить эпилептический припадок, хорошо описаны одним литератором с наследственной эпилепсией, чей случай записал Гасковец из Праги (*XIIIe Congrès International de Médecine: Comptes Rendus*, т. VIII, «Psychiatrie», с. 125): «Однажды в театре под влиянием жары и, может быть, музыки я испытал крайнее возбуждение и усталость. Я подумал, что сейчас случится припадок, и сопротивлялся изо всех сил, и он не наступил. Но я оказался в странном душевном состоянии. Выйдя из театра, я словно грезил. Я видел и слышал все и разговаривал как обычно. Но все казалось странным. Ничто, казалось, не доходило прямо до *меня* и не было настоящим впечатлением, а было лишь машинальным воспроизведением чего-то заученного, — только я чувствовал, что уже прожил и прочувствовал все это прежде; в ту минуту я, казалось, лишь наблюдал это».

Независимо от эпилепсии, всякое состояние временного, а может быть, и хронического нервного истощения может вызвать парамнестический обман, при котором нынешние переживания узнаются как знакомые, или, во всяком случае, предрасположить к нему. Так, Розенбах описал случай психически здорового и

крепкого человека, которому после напряженного умственного труда, сопровождавшегося бессонницей, казалось, что он знает всех встречных на улице, хотя при ближайшей проверке он убеждался, что ошибается.[14] Такое состояние может быть даже почти врожденным. Так, об Анне Кингсфорд, натуре крайне нервной и впечатлительной, рассказывают, что в детстве «все, что она читала, казалось ей уже знакомым, так что ей представлялось, будто она скорее восстанавливает старые воспоминания, чем приобретает новые знания».[15]

[14] *Centralblatt für Nervenheilkunde*, апрель 1886. При некоторых формах душевной болезни ложное узнавание человека может стать стойким бредом. Этот вопрос исследовал Альбес в своей парижской диссертации *De l'Illusion de Fausse Reconnaissance*, 1906.

[15] Э. Мейтленд, *Anna Kingsford*, т. I, с. 3. Лаланд (*Revue Philosophique*, ноябрь 1893, с. 487) приводит совершенно сходный случай у ребенка.

Примечательно, что искусственное обезболивание средствами, вызывающими ненормальный сон, также благоприятствует парамнезии. Так, сэр Уильям Рамзай[16] рассказывал, что когда он под наркозом услышал легкий шум на улице, «я не просто знал, что это уже случалось прежде, но мог бы предсказать, что это случится именно в эту минуту».

[16] Цитирую по Джастрову, *The Subconscious*, с. 248.

Во всех этих условиях мы, по-видимому, имеем дело с ослабленным, возбужденным и нарушенным состоянием сознания, приближающимся к подлинной спутанности сознания во сне. Похоже, что в таких случаях ощущения, вызванные извне, воспринимаются истощенными мозговыми центрами в столь размытом виде, что возникает иллюзия, и их принимают за ощущения, вызванные изнутри, — за воспоминания.

Что парамнезия — порождение усталости, хотя часто и порождение нервной сверхчувствительности, — показывают свидетельства многих, кто ее описывал. Аньель давно подчеркивал эту усталость, а Бонателли, тоже в раннюю пору, нашел, что иллюзии памяти особенно легко возникают в состояниях необычной нервной раздражительности. В последние годы эту черту парамнезии признают все чаще. Бернар Леруа, посвятивший ложному воспоминанию обширную и важную парижскую диссертацию,[17] показал, что известная доля случаев указывала на присутствие усталости или рассеянности. Хейманс нашел, что его испытуемые были наиболее подвержены этому переживанию вечером, когда находились в пассивном состоянии, утомленные, истощенные или занятые неприятной работой.[18] Фере привел случай, в котором, как он указал, ложное воспоминание у здорового человека, выздоравливавшего после инфлюэнцы, было связано с усталостью и исчезло вместе с ней.[19] Дромар и Альбес заявляют, что ложное воспоминание есть «явление истощения», и один из них делает знаменательное признание: «Я легче становлюсь жертвой этой иллюзии, когда случайно и не думая о том одновременно направляю внимание на внешний предмет и на внутреннюю мысль».[20] Дюга, в свою очередь, считает, что у всех различных форм парамнезии «есть одна общая черта: они возникают в результате долгой или сильной усталости»;[21] он добавляет, что большинство случаев парамнезии, отмеченных им у молодых людей за пятнадцать лет, совпадали с периодами малокровия и нервной слабости.

---

[17] Леруа, *Étude sur l'Illusion de Fausse Reconnaissance*, 1898, с сорока девятью новыми наблюдениями. Леруа, однако, утверждает (прямо возражая против моего взгляда), что лишь в меньшинстве его случаев действительно упоминается усталость.

[18] Хейманс, «Eine Enquête über Depersonnalisation und Fausse Reconnaissance», *Zeitschrift für Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane*, ноябрь 1903; также следующая статья в том же журнале, подтверждающая его выводы, январь 1906.

[19] Фере, «Deuxième Note sur la Fausse Reconnaissance», *Journal de Neurologie*, 1905.

[20] Дромар и Альбес, «L'Illusion dite de Fausse Reconnaissance», *Journal de Psychologie Normale et Pathologique*, май — июнь 1905.

[21] Дюга, «Observations sur des Erreurs „Formelles" de la Mémoire», *Revue Philosophique*, июль 1908.

Однако нет нужды полагать, что усталость в обычном смысле слова, телесная или умственная, неизменно сопровождает парамнезию. Если к этому переживанию предрасполагает состояние, напоминающее сон или гипнагогическое состояние, то это состояние может быть вызвано и другими обстоятельствами. Рассеянность, возбужденная сверхчувствительность, похожая на прилив сил, и различные хронические душевные состояния, обусловленные очень чуткой или перенапряженной нервной системой, — все это может вести в том же направлении, даже если никакого чувства истощения нет.[22] Несомненно, поэтому столь многие поэты, романисты и другие люди напряженного умственного склада подвержены этому переживанию.

[22] Один мой друг, подверженный этой форме парамнезии, написал мне после выхода моей первой статьи об этом предмете: «Я нахожу, как вы и предсказывали, что трудно вспомнить такое переживание во всех подробностях. Я, однако, уверен, что оно не обязательно связано с ослабленной или перенапряженной нервной системой. Чаще всего оно бывало у меня в юности, в пору, когда жизнь моя была приятной, а мозг не был утомлен, как теперь. У меня [в 43 года] оно все еще изредка бывает, но не так часто, как двадцать лет назад». Можно добавить, что мой друг, родом из горношотландской семьи, был человеком тонкого и эмоционального нервного темперамента, напряженно работавшим умом, — отчего одно время его здоровье серьезно расстроилось, — и в молодости издал два тома стихов. Большая подверженность парамнезии в ранние годы, которую обычно признают, сопоставима с особой подверженностью

детей гипнагогическим видениям; оба явления, вероятно, обусловлены большей возбудимостью и более легкой истощаемостью юного мозга.

Некоторые из тех, кто признает, что в парамнезии часто присутствует элемент усталости,[23] доказывали, что подлинная причина ложного воспоминания — ненормальная быстрота восприятия, вызванная, быть может, сверхчувствительностью. Сцена, таким образом, воспринималась бы так быстро, что человек заключал бы, будто уже переживал это прежде. Что у человека часто бывает чувство необычной быстроты восприятия, вполне можно допустить. Но нет решительно никаких оснований предполагать, что восприятие действительно совершается с такой необычной быстротой. Вероятность — на противоположной стороне. Мы знаем, что многие влияния (например, такие вещества, как алкоголь), вызывающие чувство обостренного и ускоренного восприятия, на деле замедляют и притупляют его, — так же как мудрые и прекрасные вещи, которые мы произносим во сне, по пробуждении обычно оказываются заурядными, а то и вовсе лишенными смысла. Нет никаких данных о том, что парамнезию сопровождает действительное обострение восприятия, тогда как, мы видели, широкий обзор фактов делает более разумным предположение, что мы, напротив, имеем дело с внезапным спуском к состоянию сна — состоянию, в котором, как указывали Тиссье и другие, много ступеней.

[23] Например, Аллин, «Recognition», *American Journal of Psychology*, январь 1896.

Следует помнить в этой связи, что в гипнагогическом и других родственных сну состояниях мы не способны сознательно оценивать время, хотя, как показывает частое умение просыпаться в назначенный час, можем делать это

подсознательно. Время в сноподобных состояниях бывает долгим, коротким или вовсе отсутствует. Это всегда верно для наступления гипнагогического состояния. Когда меня ночью внезапно будит голос, звонок или другой раздражитель, мне часто очень трудно сказать, спал я уже или нет, и я не раз, разбуженный так, отвечал, что уже не спал. Это иллюзия, что видно из того, как часто пожилые люди, задремавшие днем, уверяют, хотя бы за миг до того и похрапывали, что вовсе не спали. Сходной парамнестической иллюзией объясняется и то, что мы никогда не можем уловить точный миг пробуждения. Когда мы сознаем, что проснулись, нам всегда кажется, что мы уже не спим, не спим неопределенно долго, а не что только что проснулись. Если бы мне пришлось отмечать точный миг, когда я просыпаюсь утром, я обычно чувствовал бы, что значительно опоздал с наблюдением. Похоже, несовершенное гипнагогическое сознание отбрасывает себя назад. При первом своем появлении сознание недостаточно развито, чтобы понять, что оно начинается, а когда оно развилось достаточно, чтобы это утверждать, миг, когда это можно было бы сказать верно, уже прошел. Сознание способно утверждать лишь, что оно длится уже неопределенное время. А это утверждение заключает в себе парамнестическую иллюзию — перенесение нынешнего переживания в прошлое, — сходную с иллюзией ложного воспоминания.[24]

[24] Изложенное здесь объяснение парамнезии при первой публикации получило одобрение Леона Марилье, который счел его «остроумным и соблазнительным» и достаточно объясняющим явления, если помнить, что утрата ясного чувства времени свойственна гипнагогическим и родственным состояниям: восприятие каждого мгновения тотчас переводится в давнее воспоминание и потому узнается (*L'Année Biologique*, третий год, 1897, с. 772). Эта необходимость учитывать сосуществование восприятия и иллюзорного воспоминания во многом определила несколько теорий парамнезии. Так, Жан де Пюри (*Archives de Psychologie*, декабрь 1902), утверждая, что ложное воспоминание вызвано

отнесением в прошлое действительных восприятий, считает его чем-то вроде двойного преломления, какое одно и то же изображение одновременно дает на двух гранях призмы: под влиянием условий, которые он не может определить, образ на миг появляется в плоскости и прошлого, и настоящего, и мы душевно видим двойное, так же как физически у нас двоится в глазах, когда нарушается параллельность зрительных лучей. Пьерон, в свою очередь, подхватывая теорию, которой одно время держался Дюга и которую прежде в той или иной форме предлагали Рибо и Фуйе, допускает образование двух образов: одного, который из-за рассеянности или усталости достигает сознания, пройдя через подсознание, и потому приобретает сноподобный и стертый характер, и почти одновременно с ним — прямого восприятия, которое своего характера так не изменило; толчок от столкновения между ними и порождает ложное воспоминание («Sur l'Interprétation des Faits de Paramnésie», *Revue Philosophique*, август 1902). Альбес в своей парижской диссертации критикует это объяснение, указывая, что такая последовательность бывает очень часто, но ложного воспоминания не вызывает.

Если мы уясним себе эти черты парамнезии, то едва ли сможем не заключить, что имеем здесь дело с иллюзиями, которые, хотя и лежат в области памяти, в значительной мере обусловлены всем душевным состоянием. Как и во сне, парамнезию делают возможной невнимание, недостаток апперцепции, несовершенная ассоциация содержимого ума. Парамнезия, как сказал Фуйе, — это своего рода диплопия, двоение в поле ума. «У меня впечатление, — говорит один из писавших об этом предмете, сам испытывающий это ощущение, — что у нынешней действительности есть двойник». Настоящее двоение в глазах вызвано нарушением той мышечной согласованности, которая, как настаивали Рибо и другие, составляет самую суть внимания. Эту более широкую душевную основу парамнезии в последнее время признали несколько психологов. Так, Леон-Киндберг утверждает, что при парамнезии отсутствует умственное внимание, то усилие синтеза, которое нужно, чтобы охватить действительное событие, и оно поэтому воспринимается так же легко, как воспоминание, не требующее синтеза, откуда и

возникает иллюзия, что это воспоминание.[25] Балле, в свою очередь, считает парамнезию преходящим или постоянным психастеническим состоянием, вызванным диссоциацией.[26] Дюга также, много лет не раз возвращавшийся к этому предмету, в последних своих работах придает первостепенное значение этому более широкому фактору парамнезии. Разбирая память, говорит он, мы находим элемент, который, хотя его часто упускают, имеет основное значение: узнавание состояния сознания не просто как прошедшего, но как связанного с нашим собственным личным прошлым; когда эта синтетическая функция перестает совершаться или совершается несовершенно, память отсутствует или искажается. Нервная слабость, продолжает он, вызывает упадок внимания: сдерживающая сила внимания больше не действует, и душевные элементы приходят в беспорядок. А многие душевные состояния, такие как ощущения, воспоминания и образы, отличаются друг от друга не столько своим веществом, сколько тем, как ум их схватывает и постигает. Ощущение ум схватывает крепче, чем воспоминание, а воспоминание — крепче, чем образ. Когда внимание ослабевает, граница между этими душевными состояниями стремится стереться: ощущение становится смутным и зыбким, как воспоминание и образ, тогда как воспоминание и образ, напротив, становятся объективными и приобретают нечто от яркости и рельефности ощущения. Одна и та же причина — ослабление внимания — производит, таким образом, противоположные действия, в одном случае поднимая тон, в другом понижая его, так что обычно различные состояния ума сближаются и смешиваются, что мы можем наблюдать в гипнагогическом состоянии.[27]

[25] Мишель Леон-Киндберг, «Le Sentiment du Déjà Vu», *Revue de Psychiatrie*, апрель 1903, № 4.

[26] Ж. Балле, «Un Cas de Fausse Reconnaissance», *Revue Neurologique*, 1904, с. 1221.

[27] Дюга, «Observations sur des Erreurs „Formelles“ de la Mémoire», *Revue Philosophique*, июль 1908; там же, июнь 1910. Дюга не ссылается ни на Жане, ни на мою статью о гипнагогической парамнезии, но его изложение предмета в известной мере соединяет и согласует взгляды обоих прежних авторов.

Хотя Дюга не ссылается на Жане, нетрудно увидеть, что он усвоил некоторые взгляды этого выдающегося исследователя душевных загадок. Жане, как известно, при различных болезненных душевных состояниях придает большую объяснительную силу тому, что человек из-за душевной слабости теряет власть над собственной личностью, и вытекающему отсюда ослаблению чувства реальности и даже деперсонализации. Случилось так, что сам Жане изложил теорию ложного воспоминания, характерную для его собственного подхода и согласную с тем более широким взглядом, который отличает нынешние попытки объяснить эти искажения памяти. Жане заявляет, что ложное воспоминание — явление отрицательное и принадлежит к группе, куда входят и различные другие чувства ослабленной реальности. Все эти люди по сути говорят: «Мне кажется, что эти вещи не настоящие; мне кажется, что эти события происходят не сейчас, не в настоящем». Суть этой формы парамнезии, таким образом, скорее в отрицании настоящего, чем в утверждении прошлого. «Функция приспособления к настоящему моменту, — замечает Жане, — самая сложная и самая поздняя из всех. Функция реального — самая высокая и самая трудная из всех мозговых функций». Под различными влияниями нервное и душевное напряжение понижается, и такое устранение высокого напряжения ума оставляет действовать лишь низшие функции. Когда это падение напряжения быстрое, может наступить кризис, одним из признаков которого бывает ложное воспоминание.[28] Жане, таким

образом, относит ложное воспоминание к проявлениям психастении, хотя и оставляет нетронутым трудный вопрос о точном его механизме.

[28] П. Жане, «À Propos du Déjà Vu», *Journal de Psychologie Normale et Pathologique*, июль — август 1905.

Самая всеобъемлющая попытка объяснить загадку парамнезии в последние годы — несомненно та, что сделал в тщательно разработанном, вбирающем разные взгляды исследовании один из самых выдающихся ныне живущих французских мыслителей, профессор Бергсон.[29] Сначала он окидывает взглядом то, что считает двумя главными группами объяснений этого загадочного явления: 1) объяснения, которые отстаивают Рибо, Фуйе, Лаланд, Арно, Пьерон, Майерс и другие и которые предполагают более или менее одновременное присутствие в сознании двух образов, один из которых воспроизводит другой; 2) объяснения, которые отстаивают Жане, Хейманс, Леон-Киндберг, Дромар, Альбес и другие и которые настаивают на пониженном душевном тонусе, ослабленном внимании, недостатке синтезирующей силы, отличающих состояние, в котором возникает парамнезия. Бергсон вполне готов принять начала обеих этих групп объяснений и соединить их. Но, доказывает он, чтобы как следует понять явление, нужно идти глубже: нужно разобрать нормальный механизм памяти. И, сделав это, он находит, что не только миг парамнестической иллюзии, но и каждый миг нашей жизни имеет две стороны — актуальную и виртуальную, восприятие с одной стороны и воспоминание с другой. Сам миг, в сущности, и состоит в таком раздвоении, ибо он всегда движется, всегда есть ускользающая граница между ближайшим прошлым и ближайшим будущим и был бы пустой отвлеченностью, если бы не был «именно тем подвижным зеркалом, которое непрестанно

отражает восприятие в воспоминании». При таком взгляде на дело воспоминание оказывается в действительности не тем, что было, а тем, что есть, идущим в ногу с восприятием, которое оно воспроизводит. Это воспоминание о мгновении, совершающееся в то же мгновение. Принадлежа прошлому по форме, оно принадлежит настоящему по содержанию. Это воспоминание о настоящем. Но именно в таком состоянии сознательно и оказывается человек, испытывающий парамнезию, и единственная задача перед нами, следовательно, — выяснить, почему не всякий человек в каждый миг сознает то же самое переживание. Бергсон отвечает, что для действия в настоящем нет ничего бесполезнее воспоминания о настоящем. Ему нечего нам сказать: мы держим в руках действительный предмет, и променять его на воспоминание о нем значило бы пожертвовать сущностью ради тени. Поэтому мы упорно и неизменно отворачиваемся от воспоминания о настоящем. Оно проступает в сознании лишь под влиянием какого-нибудь ненормального или болезненного расстройства внимания. Парамнезия и есть такая аномалия, и вызвана она временным ослаблением общего внимания к жизни, мгновенной остановкой поступательного движения сознания. «Ложное узнавание, — заключает Бергсон, — можно, таким образом, считать самой безобидной формой невнимания к жизни. По-видимому, оно возникает из совместной игры восприятия и памяти, предоставленных собственной энергии. Оно происходило бы ежеминутно, если бы воля, непрестанно направленная к действию, не мешала настоящему замкнуться на себе, бесконечно толкая его в будущее».

[29] А. Бергсон, «Le Souvenir du Présent et la Fausse Reconnaissance», *Revue Philosophique*, декабрь 1908. Следует заметить, что, за исключением попытки

объяснить, почему парамнезия в норме не бывает привычной, статья Бергсона основана на мыслях или предположениях прежних авторов.

Что до моего собственного объяснения, то, как видно, я по-прежнему придаю значение общему состоянию временной или хронической нервной усталости как почве, на которой возникает парамнезия, — взгляд, ныне принятый большинством психологов,[30] — и думаю, что ключ к механизму иллюзии следует искать в тех сонных и гипнагогических состояниях, в которых она чаще всего возникает. Что же до окончательного объяснения механизма, то перед лицом стольких остроумных и сложных теорий нам, быть может, придется еще подождать более общего согласия.[31] Я предположил и все еще склонен утверждать, что душевное ослабление, временное или хроническое, — общее предварительное условие парамнезии, есть ли при этом субъективное ощущение прилива сил или нет, — может объяснить парамнезию тем, что низводит вызванное извне восприятие на более низкую и слабую ступень, где оно оказывается на одном уровне с вызванным изнутри восприятием — с воспоминанием. Как при гипнагогической парамнезии яркий и жизнеподобный сон, то есть внутреннее впечатление, поднимается в разряд воспоминаний и становится тенью действительного переживания, так при парамнезии наяву внешнее впечатление опускается в тот же разряд. Восприятие в обоих случаях одинаково притуплено, и непосредственное переживание следует по линии наименьшего сопротивления — на этот раз слишком небрежно или слишком преждевременно, — чтобы присоединиться к основной массе наших переживаний.

[30] До появления моей статьи, как уже упоминалось, Аньель подчеркивал значение усталости в возникновении парамнезии (*Archiv für Psychiatrie*, т. VIII, с. 57 и след.). Его теория (известная мне лишь по кратким изложениям), по которой ложное воспоминание вызвано запоздалым восприятием утомленным умом

ощущения, низводимого тем самым до уровня воспроизведенного впечатления, в сущности, по-видимому, совпадает с той, к которой я независимо пришел в свете гипнагогических явлений.

[31] Я оставляю в стороне теории, прибегающие к гистологическим объяснениям, например к какому-то особому расположению нейронов. Такие объяснения столь же лежат вне области психолога, как и старинные объяснения, ссылавшиеся на Бога и дьявола. Известный физиологический или патологический процесс психолог, конечно, вполне вправе признать — например, нарушение работы сердца, связанное с некоторыми сновидениями. Даже мельчайшие изменения в мозгу, если гистолог их должным образом установил, психолог может с пользой привлечь, если они, по-видимому, дают точное физическое соответствие его собственным выводам. Но если психолог выходит за пределы своей области и изобретает чисто умозрительную и произвольную нейронную схему под душевный процесс, это ничего не объясняет. Это лишь игра ума. Материал, с которым работает психолог, должен быть душевным, так же как материал работы физика должен быть физическим.

Так мы начинаем понимать, как возникает это удвоение переживания. Ум на время стал вялым и ослабленным; его разрыхлившаяся ткань как бы ненормально расширила ячейки, в которые улавливаются и просеиваются ощущения, так что они проходят сквозь них слишком легко. Иными словами, они не апперципируются должным образом. Если прибегнуть к грубому сравнению, это все равно что лить воду в решето. Впечатления от мира, которые суть действительные ощущения, когда ударяются о расслабленную душевную сеть, мгновенно проходят насквозь и становятся воспоминаниями, и мы видим их в обеих формах в одно и то же мгновение и не можем отличить одну от другой.

Во сне и в гипнагогическом состоянии, как и в гипнозе, мы принимаем внушение — с борьбой или без нее. В парамнестическом состоянии наяву мы, по-видимому, находим на более легкой ступени сходного состояния тот же процесс в обращенной форме. Вместо того чтобы принимать представление за действительный нынешний факт, мы принимаем

действительный нынешний факт лишь за представление. Центры восприятия находятся в таком истощении и расстройстве, что получают действительное внешнее ощущение в более слабом облике представления. Действительный факт становится лишь намеком на далекие вещи. Он достигает сознания в ослабленном облике старого воспоминания —

...похоже на то, что помню я
Давным-давно, давно, в былые дни.

Парамнезия, таким образом, — это внутренняя галлюцинация, галлюцинация, правда, обращенная, но и в таком обращенном виде поток сознания все так же следует по линии наименьшего сопротивления.

Именно в этом направлении, как мне кажется, лучше всего пытаться объяснить явления парамнезии — явления немалого интереса, поскольку на ранних ступенях культуры они вполне могли оказывать действительное влияние на верования, подсказывая древнему человеку, что он каким-то образом испытал больше, чем знает, и что, как сказал Вордсворт, за ним тянутся облака славы.

ГЛАВА X. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

✦

Основная природа сновидения — Душевная болезнь и сновидение — Душевное состояние ребенка и состояние сна — Первобытное мышление и сновидения — Сновидение и мифотворчество — Гений и сновидения — Сновидение как дорога в бесконечное

В предыдущих главах мы проследили некоторые из основных склонностей, которые господствуют в образовании сновидений. Эти склонности в некоторых отношениях настолько не похожи на те, что правят жизнью наяву, — как бы незначительно и тонко ни казалось порой это несходство, — что мы вправе рассматривать душевные явления спящей жизни как отдельный мир.

И все же, вглядевшись в эти явления чуть глубже, мы понимаем, что, как бы далеко они ни обособились, жизнь сновидений строго согласована с другими формами душевной жизни. Если проникнуть под поверхность, мы, по-видимому, достигаем первобытной, основной ступени душевной жизни, с которой одинаково начинают видящий сон, душевнобольной, ребенок и человек первобытного племени и на которой у них есть известная общность, закрытая для бодрствующего, цивилизованного, душевно здорового взрослого наших дней, так что он может постичь ее лишь усилием разума.[32] Так и выходит, что образ мыслей и чувств ребенка, человека первобытного племени и душевнобольного — каждый открывает дорогу, по которой мы можем достичь душевного мира, по существу совпадающего с миром видящего сон.

[32] Некоторые стороны душевной жизни наяву, однако, тесно связаны со сновидением. Это очевидно в отношении грез наяву, или мечтательности. (См., например, Жане, *Névroses et Idées Fixes*, т. I, с. 390–396.) Можно было бы также показать, что остроумие есть следствие процесса, сходного с тем слиянием несовместимых элементов, которое, как мы нашли, господствует в сновидениях. Наши сны иногда полны остроумия, обыкновенно не достигающего цели; я легко мог бы привести в пример сны. (Фрейд со своей точки зрения изучил аналогию между остроумием и сновидением в *Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten*.)

Сходство душевной болезни с жизнью сновидений больше всего поражало наблюдателей с тех самых пор, как природа душевной болезни была впервые отчетливо распознана. Обсуждать, в чем сновидения сходны с душевной болезнью и в чем от нее отличаются, значило бы выйти за пределы этой книги, но стоит коснуться вопроса об их родстве. Признание этого родства или по крайней мере аналогии, хотя Кабанис и приписывал его Каллену, старо, как Аристотель, и постоянно выдвигалось заново. Так, в XVI веке Дю Лоран (А. Лаврентий) в своем трактате о болезни меланхолии, как тогда называли душевную болезнь, сравнивал ее со сновидением.[33] То же самое и сейчас постоянно повторяет врач философского склада. «Узнайте все о снах, — сказал Хьюлингс Джексон, — и вы узнаете все о душевной болезни». С более широкой точки зрения психолога Джастров указывает, что не только душевная болезнь, но и все формы бреда, включая отравления дурманящими веществами, суть «разновидности сознания во сне».

[33] В более новое время особенно Моро из Тура доказывал (*Du Haschich et de l'Aliénation Mentale*, 1845), что опьянение гашишем есть душевное расстройство и что душевное расстройство есть сон наяву.

Насколько действительно родство сновидения и душевной болезни, хорошо показывает случай, наблюдавшийся Марро, в котором сон, сложившийся по обычным правилам сновидения,

вызвал временный приступ душевного расстройства у человека, во всем прочем вполне здорового душевно.[34] В этом случае весьма умный, но несколько нервный молодой человек возвращался в Италию после учения за границей и на обратном пути добрался до Турина довольно усталым. В поезде ему показалось, что он распознал карточных шулеров и что они заподозрили его в том, что он их разоблачил, и затаили на него зло. Это вызвало состояние общей нервной тревоги. В гостинице его комната была над кухней; поэтому в ней было очень жарко, и до позднего часа он слышал голоса и обрывки разговоров, которые казались ему направленными против него. Подозрения его усилились; он слышал шумы, на деле производимые кухонной утварью, казавшиеся ему приготовлениями к его убийству, и в конце концов убедился, что существует заговор поджечь его комнату, чтобы вынудить его выйти, а тогда схватить и убить. Он решил бежать, вылез в окно с револьвером в руке, пробрался в другую часть дома, столкнулся с человеком, которого разбудил шум его движений, и выстрелил в него, считая его участником воображаемого заговора. Его схватили и отвезли в лечебницу для душевнобольных, где он быстро успокоился и понял, в какое заблуждение впал. Когда Марро расспрашивал его по прибытии в лечебницу, он не знал, что вообще засыпал ночью; однако он не мог отчитаться за все время, прошедшее до того, как он покинул комнату, и, вероятно, заключает Марро, он находился в состоянии между бодрствованием и сном, и его бред сложился во сне. Усталость, нервная тревога, слишком жаркая спальня, близкие голоса прислуги и звуки кухонной утвари соединились, таким образом, в состоянии частичного сна, чтобы вызвать у человека, в остальном душевно здорового, болезненное состояние, во всех отношениях тождественное тому, что встречается у

душевнобольных, страдающих систематизированным бредом преследования.[35]

[34] У душевнобольных сон нередко становится исходной точкой бреда, и можно было бы привести много примеров.

[35] Марро, *La Pubertà*, с. 286–292.

Сходство душевного состояния ребенка с состоянием сна — наблюдение менее давнее, чем аналогия между сновидением и душевной болезнью, но его часто делали новейшие психологи. «Во сне, — говорит Фрейд, — вновь живет ребенок со своими влечениями»,[36] а Гисслер посвятил целую главу чертам сходства между жизнью сновидений и умственной деятельностью детей.[37]

[36] Фрейд, *Die Traumdeutung*, с. 13. В другом месте (с. 135) Фрейд замечает: «Чем глубже мы заходим в анализе сновидений, тем чаще натыкаемся на следы детских переживаний, которые образуют скрытый источник сновидений». То же самое ранее подчеркивал Салли («The Dream as a Revelation», *Fortnightly Review*, март 1893).

[37] К. М. Гисслер, *Die Physiologischen Beziehungen der Traumvorgänge*, гл. IV.

Я был бы особенно склонен находить сноподобный характер детского ума в трех чертах: 1) в ненормально логической склонности детского ума и в смелых умственных слияниях, которые ребенок совершает, строя теории; 2) в большем преобладании гипнагогических явлений и галлюцинаций в детстве, а также в большой доле мечтательности, грез наяву в жизни ребенка и в легкости, с какой он смешивает это воображение наяву с действительностью; и 3) в склонности ребенка принимать за действительные события и ночные сны.[38] Эта последняя склонность приобретает серьезное практическое значение, когда приводит к тому, что ребенок со всей невинностью выдвигает против других людей обвинения в

преступлениях.[39] Эта склонность ясно показывает, как близки для детей жизнь сновидений и жизнь наяву; она показывает и то, какой большой яркостью обладают детские сны. У детей с богатым воображением, можно добавить, богатая и яркая жизнь сновидений нередко служит прямым источником литературной деятельности, ведущей впоследствии к известности.[40]

[38] Джуэлл, приводящий в доказательство примеры, заключает (*American Journal of Psychology*, январь 1905, с. 25–28), что «смешение снов с действительной жизнью почти всеобще у детей и весьма обычно у подростков и взрослых».

[39] Ганс Гросс, выдающийся криминолог, упоминает (*Kriminalpsychologie*, с. 672) два случая, когда дети выдвигали обвинения в преступлениях, по-видимому основанные на снах. Гросс отмечает, что это часто можно заподозрить, когда ребенок в то время ничего не говорит и не проявляет ни возбуждения, ни подавленности, пока не пройдет день-другой после предполагаемого события. О смешении сна с действительностью см. также: Гросс, *Gesammelte Kriminalistische Aufsätze*, т. II, с. 174.

[40] Так, Рашильд (госпожа Валлет) пишет, что в юности ее сны были так ярки, что «я часто спрашивала себя, нет ли у меня двух существований: моей личности бодрствующей и моей личности во сне. Иногда я обманывалась и воображала, что моя настоящая жизнь — это сны». Она начала писать по наитию в двенадцать лет, и именно дописывая свои сны, стала романисткой (Шабане, *Le Subconscient*, с. 49). Ранние грезы наяву Жорж Санд, о которых она так интересно рассказывает (*Histoire de ma Vie*, ч. III, гл. VIII), развились вокруг центральной фигуры Корамбе, впервые увиденной в настоящем сне. Корамбе был вместе с тем божественным существом, которому она воздвигла алтарь. Так что о ребенке можно сказать, как Лукреций сказал о первобытном человеке, что боги впервые являются в снах.

Ребенок, как нам часто говорят, — представитель нынешних первобытных народов и древнего человека. В строгом смысле это неверно, и мы не можем без оговорок считать древнего человека и нынешние первобытные народы тождественными. Но мы едва ли можем сомневаться, что в снах мы приближаемся к таким способам мыслить и чувствовать, которые порой ближе к способам древнего человека, а также нынешних первобытных

народов, чем наш душевный уклад в условиях цивилизации.[41] Мы сегодня так далеки от мира наших снов, что очень редко черпаем из них вдохновение для своей жизни наяву. Для древнего человека законы мира бодрствования еще не слишком далеко отделились от законов мира сна, и он не находит неразумным искать разрешения задач одного мира в явлениях другого. Учение анимизма, впервые сформулированное Тайлором (особенно в его «Первобытной культуре»), находит в сновидениях главный источник первобытной религии и философии. В последние годы появилась склонность отвергать теорию анимизма.[42] Конечно, можно слишком исключительно полагаться на сны как на источник вдохновения древнего человека; если бы свидетельство снов не согласовалось с тем, что он извлекал из других источников, у человека древних времен не было бы причины придавать снам какую-то особую ценность. Но если анимистическое понимание и представляет слишком крайний взгляд на значение сновидений в древности, мы должны остерегаться, как бы реакция против него не привела нас в противоположную крайность. Дюркгейм доказывает, что древний человек вряд ли придавал снам большое значение, ибо нынешний крестьянин, представитель древнего человека, по-видимому, видит сны очень мало и не придает им большой важности. Но вовсе не верно, что крестьянин цивилизованного мира с его оседлой земледельческой жизнью соответствует древнему человеку, который был главным образом охотником и часто кочевником. В условиях цивилизации крестьянин питается регулярно и ведет мирную, размеренную, трудовую и ровную жизнь, вовсе не благоприятную для какой бы то ни было душевной деятельности, наяву или во сне. Человек первобытного племени, ныне и всегда, как охотник и воин, ведет жизнь

сравнительного досуга, прерываемого вспышками бурной деятельности; порой он может наесться досыта, порой оказывается на грани голода. Он живет в условиях, более благоприятных для душевной стороны жизни, наяву или во сне, чем крестьянин цивилизованного мира.

[41] «Во сне, — говорит Салли (*Fortnightly Review*, март 1893), — мы возвращаемся к более первобытному типу опыта». «Сновидение, — говорит Джастров (*The Subconscious*, с. 219), — можно рассматривать как возврат к более первобытному типу мышления».

[42] Эта склонность особенно ясно представлена Дюркгеймом («Origines de la Pensée Religieuse», *Revue Philosophique*, январь 1909) и Кроли (*The Idea of the Soul*, 1909).

Кроме того, следует помнить, что у всех народов, которых мы вправе считать в какой-то мере похожими на древнего человека, есть особый круг незаурядных людей, которые намеренно развивают свою душевную деятельность и тем самым оказывают большое влияние на соплеменников. Их называют, по весьма типичным их представителям у некоторых сибирских племен, шаманами, и они соединяют в себе обязанности жрецов, колдунов и целителей. Почти повсюду оказывается, что шаман — по-видимому, нередко человек с самого начала несколько необычного склада — ищет уединения, постится и предается всевозможным подвижническим упражнениям, приобретая тем самым необыкновенную способность видеть сны и видения, испытывать галлюцинации и, вполне возможно, обретать необычайный дар ясновидения. Шаманов андаманцев называют словом, означающим «видящий сны», а в разных частях света шаман находит первый знак своего призвания во сне. Вызывание снов часто служит главной целью необычного образа жизни шамана. Так, у индейцев салиш в Британской Колумбии сны —

надлежащий способ общения с духами-хранителями, и «долгие посты, омовения, вызванная рвота и другие изнурительные телесные упражнения — вот средства, к которым прибегают, чтобы вызвать мистические сны и видения».[43]

[43] Хилл Таут, *Journal, Anthropological Institute*, январь — июнь 1905, с. 143. Сидни Хартленд в своей президентской речи перед антропологической секцией Британской ассоциации в 1906 году подчеркнул значение снов в шаманстве, а сэр Эверард им Терн в книге *Among the Indians of Guiana* показывает, насколько действительны сны для ума первобытного человека.

Когда видишь явления шаманства во всех частях света, трудно оспорить утверждение Лукреция, что боги впервые явились людям во сне. Можно сказать, что это буквально верно: даже сегодня часто случается, что тотем человека первобытного племени, по сути его божество-покровитель, впервые является ему во сне.[44] Влияние, которое, по всей видимости, было столь постоянным, вполне могло обладать большой созидательной силой в формировании мифов и легенд, повсюду воплощающих религиозные порывы людей. Эту мысль давно высказал Гоббс. «Из этого неумения отличать сны и другие сильные игры воображения от видения и ощущения, — писал он, — и возникла в прошлые времена большая часть религии язычников, поклонявшихся сатирам, фавнам, нимфам и тому подобному».[45]

[44] См., например, об американских индейцах: Торнтон Паркер в *Open Court*, май 1901.

[45] *Левиафан*, ч. I, гл. II.

Однако первым, кто подробно доказывал, что сны, и особенно кошмары, сыграли важную роль в развитии мифологических представлений, был, по-видимому, Людвиг Лайстнер. «Если помнить, — сказал он в предисловии к своему большому труду, — как тесно поэзия и религия связаны с мифом, мы сталкиваемся с

удивительным фактом: первый зародыш этих важнейших проявлений жизни следует искать не в какой-либо деятельности бодрствующего ума, а во сне, и главного и древнейшего учителя творческого воображения надо искать не в опыте жизни, а в фантазиях сна».[46] Картины, которые люди создавали себе о мире горнем и мире подземном, носят характер снов и гипнагогических видений, и это верно даже в пределах христианства.[47] Возникновение представлений об аде, как заявил Модсли, нашло бы достаточное объяснение, если в нем вообще есть нужда, в страданиях некоторых больных в бреду, а апокалиптическое видение небес, которым завершается наша христианская Библия, по замечанию Бони, представляет собой один долгий сон.[48] И если правда, как сказал Бодлер, что «всякий хорошо устроенный мозг носит в себе две бесконечности — Небо и Ад», мы вполне можем поверить, что и Небо, и Ад находят свое самое яркое символическое выражение в самопроизвольной работе снов.

[46] Лайстнер, *Das Rätsel der Sphinx*, 1889, т. I, с. XIII. Хотя Лайстнер занимался главным образом исследованием религиозных мифов, он указал, что эпосы и волшебные сказки (Амур и Психея, сказания о Нибелунгах и Бальдре и т. д.) можно объяснить сходным образом. Вероятно, толчком к его изысканиям послужили более ранние опыты Й. Бернера (*Das Alpdrücken*, 1855) по вызыванию кошмара. У Лайстнера было много последователей, особенно К. Рутс (*Experimental-Untersuchungen über Musikphantome*, 1898), который доказывает (с. 415–446), что древнегреческие мифы имели главный корень в явлениях сна, в бреду и в видениях, вызываемых у некоторых людей слушанием музыки, а многие сказочные чудовища и драконы, по его мнению, возникли из сочетаний, видимых во сне. Мы знаем, что греки, такие великие творцы мифов, много занимались тем, что подстерегали сны, а также онейромантией и некромантией (см., например: Буше-Леклерк, *Histoire de la Divination dans l'Antiquité*, т. I, кн. II, гл. I, с. 277–329). Уже поэтому, несомненно, верно, что, как говорит Джуэлл, «сны оказали великое влияние на историю мира».

[47] Свидетельства о том высоком почтении, с каким многие величайшие греческие и латинские отцы церкви относились к снам как к божественным откровениям, см., например: Салли, статья «Dreams», *Encyclopaedia Britannica*.

[48] Человек без книжного образования и до сих пор естественно склонен отождествлять самопроизвольные зрительные явления с небесами. «Как лягу я в постель, — сказал Вандеркисту (*The Dens of London*, с. 14) один старый мусорщик, давно оставивший работу, — так читаю молитвы и кладу руки на глаза — вот так [закрывая лицо руками]; и вижу я такие красивые вещи, искорки этакие, и все плавают кругом, и я хотел вас спросить, сэр, не что-нибудь ли это небесное, сэр».

При мигрени и эпилептической ауре иногда бывают видения крошечных созданий, а порой и микропсия, при которой действительные предметы кажутся уменьшенными. Сэр Лодер Брантон высказал мысль, что здесь мы, быть может, имеем источник представлений о феях, по крайней мере о некоторых родах фей, — ибо феи, хотя в одних странах, как в Англии, они крошечные, в других, как в Ирландии, вовсе не крошечные. Однако более обычный и частый путь общения с такими созданиями — сновидения. Это хорошо показывает следующий сон, приснившийся одной даме: «Я видела человека, который вез в коляске калеку. Под конец калека уменьшился примерно до размера грецкого ореха, и человек сказал мне, что тот обладает способностью становиться любого размера и отправляться куда угодно. К моему ужасу, он затем бросил его в воду. На мои возражения, что тот наверняка утонет, человек ответил, что все в порядке, малыш через несколько часов будет дома. Потом он крикнул: „Когда ты рассчитываешь вернуться?“ Крошечное существо, которое плыло, загребая руками, достало крошечные часы и ответило: „Около семи!“».[49] В одном из моих собственных снов я видел маленьких созданий высотой в несколько дюймов, которые двигались и играли на крошечной сцене. Хотя я считал их действительно живыми существами, а не марионетками, зрелище не вызвало у меня никакого удивления.

[49] Это был единственный элемент сна, источник которого удалось проследить. Видевшая сон имела обыкновение по утрам, проснувшись, смотреть на часы и,

если было семь или позже, больше не засыпать.

Сноподобный характер мифов, легенд и волшебных сказок, однако, вероятно, не целиком обязан прямому заимствованию из действительных снов или даже из галлюцинаций, связанных с душевной болезнью, музыкой или дурманящими средствами, хотя все это могло сыграть свою роль. Большая близость первобытного ума к состоянию сна означает больше, чем склонность воплощать в жизни наяву представления, полученные из снов. Она означает, что сама душевная жизнь наяву способна действовать подобно душевной жизни во сне и порождать представления, сходные со снами.

Эту точку зрения в последние годы особенно развивали Фрейд и его школа, доказывающие, что законы образования мифов и сказок тождественны законам, по которым образуются сны.[50] Определенно похоже на правду, что сходство между снами и легендами недостаточно объясняется предположением, будто вторые вылеплены из первых. Приходится поверить, что в мифотворческом плане мышления мы на самом деле находимся в плане, более близком к сновидению, чем наше обычное цивилизованное мышление. Мы в мире вещей сверхобычно огромных или хрупких, где колебания чувства безмерно усилены, в мире, где чудеса совершаются на каждом шагу и не вызывают у нас удивления. Избиение и разрушение совершаются в богатырском размахе при самой малой затрате усилий; люди превращаются в зверей, а звери в людей, так что люди и звери беседуют друг с другом.[51]

[50] Фрейд, «Der Dichter und das Phantasieren» (1908), во второй серии его *Sammlung kleiner Schriften zur Neurosenlehre*; К. Абрахам, *Traum und Mythus* (1909), и О. Ранк, *Der Mythus von der Geburt des Helden* (1909), — обе работы опубликованы в *Schriften zur angewandten Seelenkunde* под редакцией Фрейда.

[51] Синезий упоминает о беседах с овцами во сне, и он, вероятно, первым предположил, что такие явления сна могут быть источником басен, в которых говорят животные. Собака и кошка, как и следовало ожидать, чаще всего, по-видимому, говорят в снах цивилизованных людей. Так, мне снилось, что я беседовал с кошкой, которая говорила довольно внятно и разумно, хотя не все ее фразы были понятны. Я не удивлялся этой сравнительной непонятности, но не удивлялся и тому, что она вообще говорит. Встречался мне и говорящий попугай, речь которого была уместнее, чем у большинства говорящих попугаев; это меня несколько удивило. В легендах говорить способен более широкий круг животных — несомненно потому, что первые творцы легенд были знакомы с более широким кругом животной жизни. Как естественно для ума, еще не получившего наставления, обращаться с животными как с людьми, хорошо показывает опыт слепоглухонемой Хелен Келлер, которая пишет (*The World I Live In*, с. 147): «Когда началось мое обучение, мир, оказавшийся в пределах моей досягаемости, был весь живой… Прошло два года, прежде чем меня смогли убедить, что мои собаки не понимают того, что я говорю, и я всегда извинялась перед ними, когда натыкалась на них или наступала на них».

Наконец, можно заметить, что атмосфера, в которую вводит нас гений, а в сущности и всякое искусство, — это атмосфера мира сновидений. О гениальном человеке часто говорят, что в нем живет ребенок; он, согласно древнему изречению, которое принимают и поныне, не без примеси безумия; и он, бесспорно, родствен первобытному творцу мифов. Все эти черты, как мы видим, приближают его к области сновидения, и можно сказать, что гениальный человек находится в более тесной связи с законами мира снов, чем обычный цивилизованный человек. «Не будет большим парадоксом, — замечает Модсли, — сказать, что творческая работа гения есть превосходное сновидение, а драматическое сновидение — гений в расстройстве».[52] Это часто признавали некоторые из самых типичных гениальных людей. Чарльз Лэм, говоря о Спенсере, указывал на аналогию между сновидением и воображением. Кольридж, один из самых подлинных людей воображения, доказывал, что законы драмы и сновидения одни и те же.[53] Ницше в более недавнее время развил

мысль о родстве сновидения с искусством и в «Рождении трагедии» доказывал, что аполлоновское, или сноподобное, начало — одна из двух составляющих трагедии. Малларме, далее, полагал, что символизм, который, как мы видели, лежит в основе сновидения, составляет самую суть искусства. «Назвать предмет, — говорил он, — значит уничтожить три четверти наслаждения стихами, которое складывается из счастья постепенно угадывать; внушать — вот наша мечта. Совершенное владение этой тайной и составляет символизм: вызывать предмет мало-помалу, чтобы показать состояние души, или, наоборот, выбрать предмет и высвободить из него состояние души рядом расшифровок».[54] Можно добавить, что люди воображения и искусства всегда были склонны к грезам наяву и мечтательности, давая своим фантазиям блуждать без узды, и находили в этом пользу для своей работы.[55] Начиная с Сократа, гениальные люди тоже порой впадали в состояния транса, или сна наяву, в которых их призвание или их видение проявлялись яснее;[56] галлюцинаторные голоса, определившие призвание многих великих учителей, принадлежат к душевным состояниям, родственным этим трансам.

---

[52] *Journal of Mental Science*, январь 1909, с. 16.

---

[53] «Образы и мысли, — говорил он, — обладают силой в себе и сами по себе, независимо от того акта суждения или рассудка, которым мы утверждаем или отрицаем существование соответствующей им реальности. Таково обычное состояние ума в снах… Прибавьте к этому добровольное согласие воли на эту приостановку одного из ее собственных действий — и вы получите истинную теорию сценической иллюзии».

---

[54] Приводит Поль Делиор, *Remy de Gourmont et son Œuvre*, с. 14.

---

[55] Так, даже Леонардо да Винчи (Сольми, *Frammenti*, с. 285) признавал пользу, которую извлекал, разглядывая облака или забрызганные грязью стены, и советовал этот прием другим художникам: так, говорит он, они получат

подсказки для пейзажей, батальных сцен «и бесконечных вещей», которые смогут довести до совершенства. Он сравнивал это с возможностью слышать слова в звоне колоколов. Некоторые другие выдающиеся художники прибегали к сходным приемам, которые по сути есть детская привычка видеть картины в огне.

[56] Так, Теннисон (*Memoir*, написанный его сыном, т. I, с. 320) с юности был подвержен своего рода трансу наяву. «Обычно это находило на меня, — писал он, — оттого, что я про себя молча повторял свое имя два или три раза». (Это, по-видимому, было своего рода самогипнозом.) В этом состоянии личность, по его словам, как будто растворялась, и он находил в нем доказательство того, что угасание личности со смертью означает не утрату жизни, а скорее более полную жизнь. В таких вопросах убеждение складывается у нас легко.

Едва ли нужно упоминать о творческой деятельности гениальных людей, порой происходившей в настоящем сне, или о том, чем они, по собственному признанию, обязаны подсказкам, полученным во сне.[57] Это, пожалуй, скорее преувеличивали, чем упускали из виду. Нет сомнения, что очень многие писатели и мыслители, включая некоторых из самых выдающихся, порой бывали обязаны своим снам. Этого и следовало ожидать, ведь у большинства людей во сне время от времени появляются более или менее яркие или плодотворные новые мысли,[58] и естественно, что у людей необычной умственной силы и деятельности это случается чаще и в большей степени. Но гораздо сомнительнее, достигает ли творческая деятельность нормальных снов когда-либо такого совершенства, чтобы занять в том виде, в каком она есть, высокое место в творчестве мастера. Больше всего права считаться исключением из этого правила имеет «Кубла Хан» Кольриджа. Это стихотворение Кольридж написал в 1788 году, вскоре после «Кристабели», в пору, когда поэт сильно страдал от подавленности и принимал очень много лауданума. Мы вправе поэтому предположить, что стихотворение было сочинено под влиянием опиума, а не в нормальном сне. Можно добавить, что

трудно поверить, будто Кольридж мог вспомнить целое стихотворение из нормального или ненормального сна: как правило, когда мы сочиняем стихи во сне, то обычно можем вспомнить лишь две последние, самое большее четыре строки.[59] Кроме того, есть основания полагать, что первоначальный вариант «Кубла Хана» не был тем стихотворением, которое мы знаем теперь.[60]

[57] См., например: Манасеина, *Sleep*, с. 314; Артуро Морселли, «Dei Sogni nei Genii», *La Cultura*, 1899.

[58] Так, однажды я во сне составил план статьи о прогрессе психологии, который по пробуждении показался мне вполне пригодным, хотя и не особенно блестящим.

[59] Санте де Санктис (*I Sogni*, с. 369), однако, приводит стихотворение из сна в двенадцать строк.

[60] См. примечание в издании поэтических сочинений Кольриджа под редакцией Дж. Д. Кэмпбелла, с. 592.

После «Кубла Хана» Кольриджа самым значительным художественным произведением, которое обычно приписывают сну, считается соната Тартини *Trillo del Diavolo*; Тартини — композитор и скрипач XVIII века, которого называли прообразом Паганини. Тартини, человек нервного и эмоционального темперамента, по-видимому, обладал подлинной гениальностью, и эта соната — его главное произведение. Но нет ни малейших оснований утверждать, что она была сочинена во сне, и сам Тартини этого не утверждал.[61]

[61] Тартини сочинил эту сонату — благородное и прекрасное произведение, которое живо и поныне, — в двадцать один год. В старости он рассказал астроному Лаланду (как тот сообщает в своем *Voyage d'un François en Italie*, 1765, т. IX, с. 55), что ему приснилось, будто он продал душу дьяволу, и во сне ему пришло в голову протянуть дьяволу свою скрипку, чтобы посмотреть, что тот с ней сделает. «Но как велико было мое изумление, когда я услышал, как он с

совершенным мастерством играет сонату такой изысканной красоты, что она превосходила самые смелые полеты моего воображения. Я был восхищен, перенесен, очарован; у меня перехватило дыхание, и я проснулся. Схватив скрипку, я попытался удержать услышанные звуки. Но тщетно. Пьеса, которую я тогда сочинил, „Дьявольская соната“, была лучшим, что я когда-либо написал, но как далеко ей до той, что я слышал во сне!» Сон, как видно, был довольно обычного типа, и для возбудимого темперамента Тартини он послужил толчком к лучшим его силам. Но настоящая «Дьявольская соната» была безвозвратно утрачена. (См. статьи о Тартини в *Biographie Universelle des Musiciens* Фетиса и в *Dictionary of Music and Musicians* Гроува.)

Образную реальность снов, быть может, никто не ценит так, как люди, лишенные некоторых внешних чувств. Так, один даровитый глухонемой писатель, у которого бывают отчетливые и очень эмоциональные сны, — иногда напоминающие ему атмосферу рассказов По и порой следующие в стройной последовательности из ночи в ночь, — пишет: «Огромная реальность и яркость этих снов — их замечательная черта. Они оставляют след. Поразмыслив, я думаю, что многое из написанного мною и многое из того, что я говорил, думал и во что верил, прямо обязано этим переживаниям во сне и моим раздумьям о том, откуда они пришли. Под поверхностностью нашего сознательного ума — чопорного, самодовольного, по-совиному мудрого — лежит огромная бездна подсознательной личности, темной и неясной, которую редко видят и о которой редко даже подозревают. Именно она, мне кажется, поднимается в мои сны. Она всегда здесь — всегда действует на нас, видоизменяет нас и порождает в нас странное и непредвиденное новое, — но в этих снах я заглядываю через край сознательного мира в чертог великанов, в Утгард подсознания, освещенный одним лучом заката, который показывает его бурлящие глубины. И живое чувство этого определило многое в моей жизни».[62]

[62] Слепоглухонемая Хелен Келлер написала несколько интересных глав о своих снах в *The World I Live In*. По большей части, по-видимому, жизнь сновидений слепых (которую изучали, среди прочих, Джастров, *Fact and Fable in Psychology*, с. 337 и след.) обычно не богата и не ярка.

Сновидение, таким образом, — одна из наших дорог в бесконечное. И любопытно заметить, как мы ее достигаем — через ограничение. Круг нашей сознательной жизни во сне сужается; посредством душевной диссоциации он даже распадается на обрывки. Из этого суженного и раздробленного сознания вид открывается шире и таинственнее, полный странного и неожиданного очарования и возможностей новых переживаний, — подобно тому как философствующий сырный клещик, обитающий во вселенной, состоящей из головки стилтона, вероятно, вынужден был бы считать все, что за пределами сыра, принадлежащим царству Бесконечного. В действительности, если вдуматься, все наши видения бесконечного обусловлены так же. Лишь подчеркивая свою конечность, мы вообще начинаем сознавать бесконечное. Бесконечным может быть лишь то, что простирается далеко за пределы нашей собственной личности. Очарование снов в том, что они вводят нас в новую бесконечность. Время и пространство уничтожены, тяготение приостановлено, и мы радостно несемся по воздуху, словно на руках ангелов; мы вступаем в более глубокое общение с Природой, и во сне человек выслушивает доводы своей собаки с таким же малым удивлением, с каким Валаам слушал упреки своей ослицы. Неожиданные ограничения нашего мира снов, исключение столь многих элементов, присутствующих даже бессознательно в жизни наяву, придают умственным действиям спящего ума великолепную свободу и легкость, а нашим чувствам — безудержную романтику,

пронзительную трагедию. «Тот не знал счастья, — сказал Лэм, говоря по собственному опыту, — кто никогда не был безумен». И многие вкушают во сне счастье, которого не знают наяву.[63]

[63] См., например: Мария Манасеина, *Sleep*, с. 313.

В бодрствующие часы нашей сложной цивилизованной жизни мы всегда пребываем в состоянии неопределенности, которое делает невозможными все великие выводы; множество фактов жизни, всегда присутствующих в сознании, сдерживает свободную игру логики (кроме как у того счастливого сновидца — математика) и окружает большинство наших страданий и почти все наши радости бесконечными оговорками; мы привязаны к трезвой бесцветности. Во сне оковы цивилизации ослабевают, и мы познаем страшную радость свободы. Так рай сновидений стал хранилищем, из которого люди всегда черпали утешение, и сладкую память, и надежду, и даже веру, воображаемое утоление желаний, которые мир сдерживал, обещание и доказательство самых заветных и глубоких стремлений.

И все же, хотя в известном смысле сны действительно производят свое действие сужением поля сознания и ограничением душевной деятельности, отличающей обычную жизнь, остается верным, что если принять во внимание всю душевную жизнь сновидения, подсознательную, как и сознательную, то ограниченной можно назвать жизнь бодрствования, а не сна.[64] Потому-то, как мы видели, самые основные и самые первобытные формы душевной жизни, как и самые редкие и самые ненормальные, по-видимому, имеют свой прообраз в огромном мире сновидений. Сон, сказал Вашид, не брат Смерти, как думал Гомер, а брат Жизни, и, можно добавить, старший брат.

[64] Эту сторону сновидения изложил Бергсон (*Revue Philosophique*, декабрь 1908, с. 574). «Состояние сна, — замечает он, — это подоснова нашего нормального состояния. В жизни наяву ничего не прибавляется; напротив, жизнь наяву получается ограничением, сосредоточением и напряжением той рассеянной психологической жизни, которая и есть жизнь сновидения. Восприятие и память, которые мы находим в сновидении, в известном смысле естественнее, чем в бодрствовании: сознание тогда забавляется тем, что воспринимает ради восприятия и вспоминает ради воспоминания, без заботы о жизни, то есть о совершении действий. Бодрствовать — значит отбрасывать, выбирать, собирать всю целостность рассеянной жизни сновидения в одну точку, в практическую задачу. Бодрствовать — значит хотеть; перестаньте хотеть, отрешитесь от жизни, станьте безучастным — и тем самым вы перейдете от бодрствующего „я“ к „я“ видящему сон, которое менее напряжено, но более протяженно, чем первое».

«Мы видим сны, видения, беседуем с химерами, — сказал Джозеф Гленвилл, философ XVII века, — одна половина нашей жизни — роман, вымысел». А что же другая половина? Пипс рассказывает, как другой выдающийся человек того же века, сэр Уильям Петти, «предложил как вопрос, поистине сомнительный, есть ли на самом деле какая-нибудь разница между бодрствованием и сновидением».[65] О наших снах говорят, что это заблуждения, устроенные во многом так же, как бред душевнобольных. Но, говорит Годферно, «вся жизнь — это ряд систематизированных бредовых представлений, более или менее долговечных». Люди, уставшие от слишком долгой жизни, иногда находили утешение в этом сходстве мира снов с миром жизни. «Пробудившись ото сна, ты увидел, что тревожившее тебя было лишь снами, — писал самому себе Император-стоик в своих „Размышлениях“, — так и теперь, бодрствуя, смотри на окружающее тебя так, как смотрел на те сны». Сны истинны, пока длятся. Можем ли мы в лучшем случае сказать больше о жизни?

[65] Пипс, *Дневник*, 2 апреля 1664.

Мы задались целью как можно тщательнее изучить небольшое поле сознания во сне, принадлежащее немногим людям, быть может, и не отклоняющимся от нормы, о которых можно было говорить с известной уверенностью. Великий натуралист Линней сказал однажды, что мог бы провести всю жизнь, изучая клочок земли, который можно накрыть ладонью. Как бы мал ни был исследуемый нами участок, в конце концов он приведет нас к солнцу. Нет ничего слишком мелкого или слишком ничтожного. Я часто с болью вспоминал, как давным-давно однажды огорчил человека, сказав с мальчишеской самонадеянностью, что рассказывать свои сны глупо. С тех пор я искупил это замечание. *Il faut cultiver notre jardin*, — сказал мудрый философ XVIII века. Я возделал, насколько хотел, свой сад сновидений, и он не кажется мне большим садом. И все же каждая его тропинка, думается мне иногда, могла бы в конце концов привести к самому сердцу вселенной.